

Пнин

Автор:

Владимир Набоков

Пнин

Владимир Владимирович Набоков

Набоковский корпус

«Пнин» (1957), четвертый англоязычный роман Владимира Набокова, посвящен жизненным перипетиям одного из самых незащищенных и трогательных персонажей в литературе XX века. Настоящий русский интеллигент, прекрасный ученый, но человек чудаковатый и незадачливый, Тимофей Пнин, покинувший Россию после революции 1917 года, преподает русскую словесность в американском университете, где становится случайной жертвой интриг и черствости коллег. Удастся ли ему на этот раз ускользнуть от своего хитроумного создателя, уготовившего ему участь страдальца, вынужденного раз за разом сносить удары судьбы? «Пнин» увидел свет вскоре после скандальной «Лолиты» и, получив восторженные отзывы читателей и критиков, послужил своего рода антитезой бытующему представлению о «безнравственности» и «бездушии» Набокова.

Настоящее издание романа сопровождается предисловием, примечаниями и заключительным очерком переводчика.

Сохранены особенности орфографии, пунктуации и транслитерации переводчика.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Владимир Набоков

Пнин

© First published in 1957

Copyright © 1953, 1955, 1957, Vladimir Nabokov

All rights reserved

© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Издательство CORPUS ®

Предисловие переводчика

Предупреждение к первому русскому изданию этой книги начиналось так: «Прошло пятьдесят лет с тех пор, как „Пнин“ вышел первым изданием (Doubleday: Garden City, New York, 1957), и почти двадцать пять, как он появился в русском переводе (Ardis: Ann Arbor, Michigan, 1983), и математическая соразмерность этого двойного события, равно как и семантическая переключка выходных данных (особенно этот мотив удвоения), а также столиц и усадеб, как будто переплетаются в один из тех цветочных рисунков, которые напоминают узоры непревзойденной набоксовской работы. Но в отличие от оригинала, мой перевод вещь скоропортящаяся: тотчас по выходе я обнаружил в нем (и это после десяти, кажется, корректур!) уйму неудачных, несуразных и прямо неверно понятых мест...» Прошедшие с тех пор восемь лет уничтожили числовую соразмерность и обнаружили новые неудачные места, требовавшие выправления. Эта необходимая правка сделалась чем-то вроде необходимой периодической замены приводных ремней и подтягивания болтов автомобиля каждые столько-то тысяч верст пробега. Еще в самом начале восьмидесятых годов Вера Набокова, которая тщательно редактировала перевод, прислала мне список своих поправок, и я тогда же начал их собирать для маловероятного, как казалось тогда, исправленного издания. Спустя пять лет московский журнал

«Иностранная литература» попросил позволения перепечатать издание «Ардиса», не без основания полагая Набокова писателем во всяком случае иностранным, и, напечатав, прибавил от себя огромное количество новых ошибок (особенно частых в словах иностранных). Еще через десять лет этот испорченный текст, уже без спроса, вышел книгой в Харькове (где он оказался в обществе двух незнакомцев), но в то время пиратские суда с причудливыми роострами уж давно бороздили ничейные издательские воды во всех направлениях, и новые переложения «Пнина» стали появляться то тут, то там под разными веселыми флагами. В этих обстоятельствах переиздание старого перевода представилось опекунам наследия Набокова желательным. Юбилей казался удобным для того поводом, а новая серия изданий его книг – наилучшим местом[1 - За возможные частичные или даже дословные совпадения с другими напечатанными русскими версиями «Пнина» я никак не могу отвечать, потому что никогда не читал ни одного чужого перевода Набокова (кроме двух-трех страниц «Ады» в двух разных изложениях, по просьбе сына Набокова, для сравнительного анализа).].

К самому первому, мичиганскому, русскому изданию было приложено послесловие переводчика, где, в частности, объяснялись главные черты этого не совсем обычного, мнимо-двойного перевода, где русская или русифицированная английская речь героя передается как бы из вторых рук. Издание «Азбуки» 2007 года представляло собою совершенно новую редакцию – поверхностной отделке или основательной переделке подвергся весь словесный состав книги. Мне хотелось добиться большей верности средствами не только дискретными, т. е. словарными, как оно было в первом издании, но и совокупными – цельными фразами, передающими смысл чужой речи слогом, свойственным автору на родном его языке. Говорю здесь только об одном из условий поставленной себе и целый год упорно преследовавшейся задачи, а не о ее решении, о чем не могу судить не только из приличия, но и потому, что после стольких помарок, колебаний и новых помарок притупляется способность отличать острое от пресного, холодное от горячего, – притупляется самый вкус. С другой стороны, его остается довольно, чтобы сознавать, что шероховатостей еще много, но, сняв в девятый раз стружку, я объявил ее последней и отнял руку и уж теперь больше ею не проведу из опасения все-таки занозить ее.

Юбилейные соображения сделали предыдущее издание несколько отличным по составу от других в той же серии; так, у него имеется обширное послесловие, сохраненное и в этом новом издании. Для чего оно?

Иное дело писать, иное – сочинять, в начальном значении этого слова. Писателей на свете великое множество, но настоящих сочинителей единицы. Набоков возвел искусство соположения составляющих книгу слов, фраз, кусков, глав, тем, пластов, начал и концов на дотоле неведомую и доселе необитаемую высоту. Серьезное чтение его книг таким образом есть искусство того же самого рода, что и сочинение, ибо для настоящего понимания его композиций необходимо после первого чтения еще и еще раз пересекать всю местность романа вдоль и поперек течения местного времени. Это занятие составляет для читателя Набокова высшее наслаждение, и наслаждение это находится в родстве или по крайней мере в свойстве с восторгами самого сочинителя. Дело восхитительно трудное, но опыт учит искать и находить пособия. Например, у любой книги Набокова имеется подробный план местности, снабженный указателями направления преобладающего ветра и высоты над уровнем моря, условными знаками и стрелками и крестиками на месте тайников, но для того, чтобы вычертить хотя бы контурную карту, кладоискателю нужно сначала нанести сигнальные точки, которые требуется потом соединить. Для облегчения этого труда и для лучшей ориентации внутри романа и предлагается истолковательный очерк, напечатанный в виде длинного послесловия. Набоков говорил, что космическое отличается от комического одним свистящим звуком. Но то же можно заметить и в отношении умозрительного и уморительного, так как оба эти нитяных строя составляют, в причудливом и искусном переплете, полотно романа. Эти и другие, более важные антиномии нуждаются в указании и объяснении, без которого эта книга – на вид простая, а на самом деле весьма сложной повествовательной постройки – не может быть оценена по достоинству и даже сколько-нибудь верно понята.

Все те места, которые, по моему рассуждению, могли бы привести в недоумение читателя, не знакомого с американским бытом вообще и академическим в особенности, объясняются в постраничных примечаниях. Я очень хорошо знаю, что примечания вредят повествовательной иллюзии, для которой требуется изоляция от внешнего мира, но пришлось с этим примириться. В конце концов, предисловия и послесловия тоже инородные тела, и они или отторгаются от корпуса романа и пропадают, или приобретают некоторые свойства вымысла, словно хотят быть в свите книги и везде ее сопровождать (у «Лолиты», например, двойной эскорт).

Набоков в каждом предисловии к английским изданиям своих книг считал нужным «послать приветствие венской делегации»; мне же в этом жанре приходится всякий раз касаться вопроса о русском языке. Удивляться ли этому, если вспомнить, что нужно переводить русского писателя непревзойденной

силы на язык, который находится в самом жалком состоянии. Профаны полагают, и важно объявляют, словно эта глупость непререкаема, что язык развивается. Но то же можно сказать и об опасной болезни. Вопрос в том, можно ли остановить такое развитие, а вовсе не в том, нужно ли пытаться его остановить. В теперешней письменной речи очевидно не только общее стремление к понижению и оскудению средств выражения, как это было раньше на протяжении полувека, но налицо и явная тенденция к искажению этих средств. Теперь не мастера «развивают» язык, а воры – одни тащат из чужих кошельков, другие из чужих наречий, и так обогащаются десятилетиями настоянный на сухофрукте советский говор. И в естественных-то условиях за родным языком в письменности нужен глаз да глаз, ухо да ухо, в одной руке Даль, в другой линейка. Но в бывшей России произошло такое искоренительное надругательство над языком, т. е. над людьми, его в себе «носившими», что и старые книги, изданные по-новому, не остановили и не могут остановить распространение блатной музыки и ворованного американского товара, определяющих теперь норму речи. Кстати о Дале: у меня имеется объявление о новом советском издании его словаря (каталог Торгового Дома «Россия», 2001), где сказано: «Толковый словарь живого великорусского языка, 4 тт. Впервые на русском языке». И это в сущности верно, все дело в том, что этим словом называть: или Даль с его толковым, живым и великорусским, или близь, с ее торговым мертвым домом.

В таких безпримерно неблагоприятных условиях, когда не знаешь, можно ли родной свой язык именовать русским, переводить Набокова есть, конечно, дерзость едва ли позволительная. Мой перевод страдает многими неисцелимыми пороками, общими обстоятельствам времени и места, вдобавок к моим собственным. Но все же надеюсь, что благодаря долгим усилиям, благодаря пособию лучшего из возможных сотрудников (у Веры Набоковой было безупречное чувство языка), благодаря, наконец, этой возможности еще раз исправить и улучшить старую работу, русский язык этого «Пнина» лучше больничного рациона из порошкового молока и киселя из порошка, – надеюсь, я хочу сказать, что здесь угадываются другие реки, другие берега.

Вот как Набоков заканчивает одно свое послесловие: «Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: „Позвольте представиться, – сказал попутчик мой без улыбки, – моя фамилия N.“». Если заменить курсив на стенограмму, профиль на силуэт, а прописной латинский «нашъ» на «буки» – то получится довольно верный реферат этого труда.

Г.Б.

2 июля 2015 г.

Колумбия, Миссури

Пнин

Русский перевод посвящается памяти Веры Набоковой

Глава первая

1

У северного окна вагона неумолимо мчавшегося поезда сидел пассажир, у которого не было соседей ни рядом, ни напротив; это был не кто иной, как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и гладко выбритый, он выглядел весьма солидно, если начинать осмотр сверху: большой коричневый купол, черепаховые очки (скрадывавшие младенческое безбровие), несколько обезьянье надгубье, толстая шея и внушительное туловище в тесноватом твидовом пиджаке; но заканчивался он как-то неожиданно парой журавлиных ног (они теперь были одеты во фланелевые штаны и перекинуты одна на другую) с нежными на вид, несколько женскими ступнями.

На нем были неподтянутые носки алой шерсти в лиловых ромбах; его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему едва ли не дороже всей прочей экипировки (включая и вызывающе цветистый галстук). До сороковых годов, в степенную европейскую пору своей жизни, он всегда носил длинные кальсоны, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков

в стрелку, скромных оттенков, которые держались подвязками на его обтянутых бумазеей икрах. В те дни обнаружить полоску этих белых кальсон под слишком высоко вздернутой штаниной показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука, и если сухонькой мадам Ру, консьержке в скверных номерах в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизменной России и завершения высшего образования в Праге провел пятнадцать лет, случилось придти к нему за квартирной платой, когда на нем не было его faux col[2 - Приставного воротника.], чопорный Пнин прикрывал запонку на горле целомудренной рукою. Все это переменялось в пьянящем воздухе Нового Света. Теперь, в свои пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на ногу, прилежно, нарочито, дерзко выставлял напоказ чуть не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик; но ежели не считать солдата, сидевшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом, – в вагоне кроме Пнина не было никого.

Раскроем теперь один секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Этого не ведал ни он сам, ни кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. Более того, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне – верст двести на запад от Вэйнделя, академического наместа Пнина с 1945 года, – вице-президентша кремонского дамского клуба мисс Джудит Клайд уведомила нашего приятеля, что самый удобный поезд отходит из Вэйнделя в 1.52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17; однако Пнин (который, как и многие другие русские, хватал через край во всем, что касалось расписаний, карт, каталогов, коллекционировал их, набирал их без стеснения из одного только полезного удовольствия приобретения задарма, и исполнялся особенной гордостью, когда ему удавалось самому разобраться в расписании поездов) после некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда (отб. из Вэйнделя в 2.19 дня, приб. в Кремону в 4.32); сноска эта указывала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд двадцать девять останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским именем. К несчастью для Пнина, его расписание было пятилетней давности и отчасти устарело.

Он преподавал русский язык в Вэйндельском университете, несколько провинциальном заведении, которое было замечательно своим искусственным озером в центре живописно распланированного кампуса; увитыми плющом галереями, связывавшими отдельные университетские корпуса; фресками, на

которых можно было узнать тамошних профессоров, передающих светоч знания от Аристотеля, Шекспира и Пастера группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок; и огромным, преуспевающим немецким факультетом, который д-р Гаген, его начальник, самодовольно называл (отчеканивая каждый слог) «университетом в университете».

В осеннем семестре того года (1950-го) в списках на курсах русского языка значились: одна студентка (пышнотелая и серьезная Бетти Блосс) в средней группе; один студент, Иван Дуб (пустой звук, ибо он так и не воплотился), в старшей; и трое в процветавшей начальной: Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска; Чарльз Макбет, сверхъестественная память которого уже одолела десять языков и готова была поглотить еще с десятков, и томная Айлина Лэйн, которой кто-то сказал, что, выучив однажды русский алфавит, можно в принципе читать «Анну Карамазову» в оригинале. В педагогическом отношении Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, умудряются, однако, при помощи интуиции, многословия и какого-то материнского подхода внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка: тут тебе и песни о Волге-матушке, и красная икра, и чай. Еще менее мог Пнин как преподаватель дерзнуть приблизиться к высоким палатам новейшей ученой лингвистики, этому аскетическому братству фонем, этому храму, где усердных молодых людей обучают не собственно языку, но методике, по которой надо преподавать сию методику; метода же эта, словно водопад, плещущий с утеса на утес, перестает быть средством разумной навигации, но, может быть, в каком-нибудь баснословном будущем пригодится для усовершенствования эзотерических наречий, например прусско-этрuscoго, на которых будут изъясняться одни хитроумные машины. Без сомненья, подход Пнина к своей работе был дилетантским и легкомысленным: он полагался на грамматические упражнения, изданные главою славянского отделения гораздо более крупного, чем Вэйндель, университета – маститым шарлатаном, русский язык которого был уморителен, но который тем не менее великодушно ссужал свое почтенное имя произведениям безымянных тружеников. Пнин, несмотря на множество своих недостатков, источал обезоруживающее, старомодное обаяние, которое д-р Гаген, верный его покровитель, отстаивал перед суровыми попечителями как изящный заграничный продукт, за который стоило платить отечественной монетой. Его ученая степень по социологии и политической экономии, которой он был торжественно удостоен в Пражском университете в 1925-м, кажется, году, к середине века лишилась применения, и, однако, нельзя сказать, чтобы он вовсе не подходил для роли преподавателя русского языка. Его любили не за

какие-то его особенные качества, но более за его незабываемые отступления, когда он снимал очки, улыбаясь прошлому и одновременно протирая стекла настоящего. Ностальгические экскурсии на ломаном английском; забавные подробности автобиографии. Прибытие Пнина в Соединенные Штаты. «Проверка на корабле, – перед тем как сойти на берег. Вери ээль! „Везете какие-нибудь ценные вещи?“ – „Нет“. Вери ээль! Засим – политические вопросы. Он спрашивает: „Вы не анархист?“ – „Я отвечаю, – рассказчик тут делает паузу, чтобы предаться уютному немому веселью. – Во-первых, что мы понимаем под анархизмом? Анархизм – какой? практический, метафизический, теоретический, мистический, абстрактный, индивидуальный, социальный? Когда я был молод, – говорю я ему, – все это имело для меня значение“. И у нас получилась очень интересная дискуссия, вследствие которой я провел целых две недели на Эллис-Айленд[3 - Въезд коммунистов и „анархистов“ в Америку был воспрещен законом. Остров Эллис в нью-йоркской гавани предназначался для временного содержания эмигрантов, если немедленный их въезд был по какой-нибудь причине затруднен.]», – брюшко начинает колыхаться; вот и колыхается; и вот уже повествователь трясется от смеха.

Но случались и еще более смешные положения. Благодушный Пнин, с жеманной таинственностью подготавливая подростков к дивному удовольствию, которое сам он некогда испытал, и уже обнажая в неудержимой улыбке неполный, но внушительный строй пожелтевших зубов, раскрывал потрепанную русскую книгу на изящной закладке искусственной кожи, заботливо им туда вложенной; он раскрывал ее, и нередко при этом его подвижные черты искажались выражением крайнего недоумения; разинув рот, он лихорадочно пролистывал том направо и налево, и, бывало, проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу – или убеждался в том, что все-таки правильно заложил ее. Обыкновенно брался пассаж из старой, простецкой комедии купеческого быта, которую Островский смастерил на скорую руку лет сто тому назад, или из столь же древнего, но даже еще более устаревшего отрывка из плоского лесковского фарса, где все держится на искалеченных словах. Он преподносил этот лежалый товар скорее в сочной манере классической Александринки, нежели с отчетливой простотой Московского Художественного; но так как для того, чтобы оценить хоть то немногое, что еще оставалось смешного в этих пассажах, нужно было обладать не только основательным знанием разговорного языка, но еще и немалым запасом литературных сведений, меж тем как его бедный маленький класс не обладал ни тем ни другим, то декламатор в одиночестве наслаждался тонкими ассоциациями читаемого текста. Колыханье, уже отмеченное нами в другой связи, превращалось тут в настоящее землетрясение. В ярком свете рампы надевая на себя все маски, которые подсовывало ему воображение,

направив память ко дням своей пылкой, восприимчивой юности (в сверкающем мире, который, казалось, припоминался еще ярче оттого, что был сметен одним ударом истории), Пнин пьянел от бродивших в нем вин, покуда извлекал из текста один за другим образчики того, что его слушатели учтиво принимали за русский юмор. Скоро он ослабевал от смеха; по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы. Не только его ужасающие зубы, но и поразительно широкая полоса розовой верхней десны неожиданно выскакивали как чертик из табакерки, и рука его взлетала ко рту, а массивные плечи сотрясались и перекатывались. Он до того отдавался потехе собственного производства, что на студентов это действовало неотразимо, хотя его речь, придушенная пляшущей ладонью, была им теперь непонятна вдвойне. К тому моменту, что он совершенно уже изнемогал, они помирали со смеху, причем Чарльз, хохоча, отрывисто лаял, как заводной, невзрачную Джозефину неожиданно преображал ослепительно-прелестный поток смеха, тогда как очаровательная Айлина расплывалась в желе непривлекательного гогота.

Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнин ехал не в том поезде.

Как бы нам объяснить это печальное происшествие? Пнин, это следует особенно подчеркнуть, ни в коем случае не походил на известный тип добродушной немецкой пошлости прошлого столетия, *der zerstreute Professor* [4 - Рассеянный профессор.]. Напротив, он был, может быть, слишком осмотрителен, слишком остерегался каверзных подвохов, слишком болезненно опасался, как бы его странное окружение (непредсказуемая Америка) не втянуло его в какую-нибудь нелепую историю. Рассеян был не Пнин, а мир, и Пнину приходилось наводить в нем порядок. Его жизнь была постоянной борьбой с неодушевленными предметами, которые разваливались, или нападали на него, или отказывались служить, или назло ему терялись, как только попадали в сферу его бытия. У него были на редкость неловкие руки; но поскольку он мгновенно мог изготовить однозвучную свистульку из горохового стручка, пустить плоский камушек так, чтобы он раз десять подскочил по глади пруда, изобразить, сложив пальцы, силуэт кролика на стене (притом с моргающим глазом) и проделать множество других домашних трюков, которые у русского человека всегда наготове, то он воображал, что наделен немалыми прикладными и техническими способностями. Всякими приспособлениями он увлекался с каким-то ослепленным, суеверным восторгом. Электрические приборы приводили его в восхищенье. Изделия из пластической массы сводили его с ума. Он не мог надивиться на змеевидную застежку «зип». Но бывало и так, что благоговейно заштепеленные им электрические часы после ночной грозы, парализовавшей местную электростанцию, превращали его утра в нелепую сумятицу. Оправа его очков

могла лопнуть в переносице, и тогда он держал в руках обе половинки, пытаюсь как-то соединить их, – надеюсь, может быть, что они каким-то чудом срастутся сами собой. Порой, в отчаянную минуту жуткой спешки, застежку, от которой мужчина зависит более всего, заедало в его растерянной руке.

И он все еще не знал, что сел не в тот поезд.

Область особенно опасную для Пнина представлял английский язык. Не считая таких не очень полезных случайных словечек, как «the rest is silence», «nevermore», «weekend», «whos who»[5 - «Прочее – молчанье» (финал «Гамлета»); «больше никогда» (рефрен из «Ворона» По); конец недели; «Кто – Что», американский биографический справочник.], и нескольких обиходных слов вроде еда, улица, самопишущее перо, гангстер, чарльстон, марджиналь ютилити[6 - Предельная полезность.], он вовсе не владел английским, когда уезжал из Франции в Соединенные Штаты. Но он упрямо засел за изучение языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного президента. В 1941-м, в конце первого года занятий, он был достаточно искушен, чтобы свободно пользоваться выражениями вроде вишфуль финкинг (принимать желаемое за действительное) и оки-доки (простонародное «ладно»). К 1942-му он был в состоянии прерывать свое повествование фразой «Ту мэйк э лонг стори шорт» (короче говоря). К началу второго срока президента Трумана Пнин практически мог справиться с любой темой; но, с другой стороны, продвижение вперед, казалось, приостановилось, несмотря на все его усилия, и к 1950 году его английский язык все еще был полон изъянов. В ту осень он пополнил свои русские курсы еженедельными лекциями в так называемом симпозиуме («Безкрылая Европа: обзор современной континентальной культуры»), которым руководил д-р Гаген. Все лекции нашего друга, включая разнообразные выступления в других городах, редактировал один из младших сотрудников немецкой кафедры. Процедура эта была многоступенчатая. Сначала профессор Пнин старательно переводил свой русский словесный поток, изобиловавший идиоматическими предложениями, на корявый английский. Молодой Миллер все это исправлял. Потом секретарша д-ра Гагена, мисс Айзенбор, переписывала все на ремингтоне. Потом Пнин вычеркивал места, которых не понимал. И только после этого он читал лекцию своей еженедельной аудитории. Он совершенно не мог обойтись без приготовленного текста; не мог он воспользоваться и известным приемом маскировать свой недостаток то подымая глаза, то опуская – выхватывая горсточку слов, забрасывая их в аудиторию и растягивая конец предложения, пока ныряешь за следующим. Нервный взгляд Пнина непременно сбился бы со следа. Поэтому он предпочитал читать свои лекции не отрывая глаз от текста, медленным, монотонным баритоном, напомилавшим восхождение по

одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются те, кто остерегается ездить в лифтах.

Кондуктору – седовласому, отечески благодушному человеку в стальных очках, довольно низко сидевших на его простом, прямого назначения носу, с полоской грязного пластыря на большом пальце, – оставалось теперь пройти всего три вагона до последнего, в котором сидел Пнин.

Тем временем Пнин предался удовлетворенью особенной пнинской страсти. Он находился в пнинском затруднении. Среди прочих вещей, необходимых для пнинского ночлега в чужом городе, – башмачных колодок, яблок, словарей и так далее, – в его большом саквояже лежал относительно новый черный костюм, который он собирался надеть вечером на лекцию («Коммунисты ли русские люди?») перед дамами Кремоны. Там же лежала лекция для симпозиума на ближайший понедельник («Дон Кихот и Фауст»), которую он рассчитывал проштудировать завтра на обратном пути в Вэйндель, и сочинение аспирантки Бетти Блосс («Достоевский и Гештальт-психология»), которое он должен был прочитать вместо д-ра Гагена, главного руководителя ее умственной деятельности. Затруднение же состояло в следующем: если он будет держать кремонский манускрипт – пачку машинописного формата страниц, аккуратно сложенную пополам, – при себе, в безопасном тепле своего тела, то теоретически было вероятно, что он забудет переложить его из сюртука, который был на нем теперь, в тот, который на нем будет тогда. С другой стороны, если бы он поместил лекцию в карман того костюма, который был в чемодане теперь, то он знал, что стал бы терзаться мыслью, что багаж могут украсть. С третьей стороны (такие душевные состояния все время обстраиваются новыми сторонами), он вез во внутреннем кармане своего теперешнего сюртука драгоценный бумажник с двумя десятидолларовыми ассигнациями, газетной вырезкой письма, написанного им с моей помощью в «Нью-Йорк Таймс» в 1945 году по поводу Ялтинской конференции, и своим удостоверением об американской натурализации; и в принципе можно было, вытаскивая, если понадобится, бумажник, фатально выронить при этом и сложенную лекцию. В продолжение двадцати минут, проведенных им в поезде, наш друг уже дважды раскрывал чемодан, перекладывая так и сяк свои разнообразные бумаги. Когда кондуктор дошел до его вагона, добросовестный Пнин пытался, несмотря на трудности, одолеть последнее произведение Бетти, которое начиналось так: «Когда мы рассматриваем духовный климат, в котором все мы живем, мы не можем не заметить...»

Тут вошел кондуктор; не стал будить солдата, пообещал женщинам дать знать, когда им выходить, и вот уже качал головой над билетом Пнина. Остановка в Кремоне была отменена два года тому назад.

- Важная лекция! - вскричал Пнин. - Что делать? Катастрофа!

Седой кондуктор степенно, неторопливо опустил на противоположное сиденье и, ни слова не говоря, стал справляться в потрепанной книге, полной вставок на страницах с загнутыми уголками. Через несколько минут, а именно в 3.08, Пнину нужно будет выйти в Витчерче; там он сядет на четырехчасовой автобус, который около шести доставит его в Кремону.

- Я думал, что выиграл двенадцать минут, а теперь я потерял целых два часа, - огорченно сказал Пнин. После чего, прочищая горло и не слушая утешений седовласого добряка («Не беда, поспеете»), он снял рабочие очки, подхватил свой тяжелый, как камень, чемодан и отправился в тамбур вагона, чтобы подождать там, пока перепутанную, проносящуюся мимо зелень не упразднит и не заменит собою нужная ему станция.

2

Витчерч появился точно по расписанию. За геометрически правильными телами разнообразных отчетливых теней лежало горячее, оцепенелое пространство залитого солнцем бетона. Здешняя погода была невероятно летней для октября. Не теряя времени, Пнин вошел в нечто вроде ожидальной залы с ненужной печкой посередине и огляделся. В голой нише можно было различить верхнюю половину туловища взопревшего молодого человека, заполнявшего формуляры за широкой деревянной стойкой.

- Скажите, пожалуйста, - сказал Пнин, - где останавливается автобус в четыре часа в Кремону?

- Через дорогу, - коротко ответил служащий, не подымая глаз.

- А где можно оставить мой багаж?

- Этот чемодан? Я присмотрю за ним.

И со свойственной американцам непринужденностью, которая всегда поражала Пнина, молодой человек втолкнул чемодан в угол своего закута.

- Квиттэнс? - спросил Пнин.

- Чего?

- Номер? - попытался объяснить Пнин.

- Номера вам не нужно, - сказал молодой человек и опять начал писать.

Пнин покинул станцию, удостоверился, что автобусная остановка там, где сказано, и зашел в кондитерскую. Съел сэндвич с ветчиной, спросил другой, съел и другой. Ровно без пяти четыре, уплатив за съеденное, но не за превосходную зубочистку, тщательно выбранную им в опрятной чашечке в виде сосновой шишки возле кассы, Пнин пошел назад на станцию за своим саквояжем.

Первого служащего там теперь не оказалось. Его вызвали домой, чтобы срочно везти жену в родильный приют. Он должен был вернуться через несколько минут.

- Но мне необходимо обрести мой чемодан! - воскликнул Пнин. Новый служащий сожалел, но ничем не мог помочь.

- Вот он! - вскричал Пнин, перегибаясь через стойку и показывая.

Это был опрометчивый жест. Он еще указывал пальцем, но уже понял, что требует чужой чемодан. Его указательный палец потерял уверенность. Нерешительность эта оказалась роковой.

- Мой автобус в Кремону! - воскликнул Пнин.

- Будет еще один, в восемь, - сказал тот.

Что было делать нашему бедному другу? Ужасное положение! Он бросил взгляд в сторону улицы. Автобус только что подошел. Выступление сулило пятьдесят долларов. Его рука метнулась к правому боку. Она была тут, слава Богу! Верп вэль! Он не наденет черного костюма – вот и все. Он захватит чемодан на обратном пути. За свою жизнь он бросил, растерял, похерил множество гораздо более ценных вещей. Энергично, почти что беззаботно Пнин сел в автобус.

Не успел он проехать и нескольких городских кварталов на этом новом этапе своего путешествия, как в голове у него мелькнуло страшное подозрение. С той минуты, что он был разлучен с чемоданом, кончик его левого указательного пальца то и дело чередовался с ближайшим краем правого локтя на страже драгоценного содержимого внутреннего кармана пиджака. Он вдруг одним рывком выхватил его. Это было сочинение Бетти.

Испуская восклицания, которые, по его мнению, были международными выражениями отчаянной тревоги и мольбы, Пнин ринулся со своего сиденья. Шатаясь, он добрался до выхода. Одной рукой водитель угрюмо выдоил пригоршню монет из своей машинки, возвратил ему цену билета и остановил автобус. И бедный Пнин оказался посреди чужого города.

Он был совсем не так крепок, как это можно было предположить, судя по его мощной, выпяченной груди, и волна безнадежного утомления, которая внезапно захлестнула его неустойчивое, с перевесом в верхней части, тело, словно бы отделяя его от действительности, была ощущением ему не вовсе не знакомым. Он очутился в сыром, зеленом, лиловатом сквере строгого траурного вида, с преобладанием понурых рододендронов, глянцевитых лавров, опрысканных тенистых деревьев и аккуратно скошенных газонов; и едва он свернул в каштановую и дубовую просадь, которая – как ему отрывисто сообщил шофер автобуса – вела назад на железнодорожную станцию, – как это жутковатое чувство, эти мурашки нереальности одолели его окончательно. Несвежая снедь? Этот пикуль, поданный к ветчине? Или то была какая-то таинственная болезнь, которой ни один его врач еще не определил, спрашивал себя мой приятель. Желал бы и я это знать.

Не знаю, замечено ли кем-нибудь прежде, что обособленность есть одно из важнейших условий жизни. Без покрова плоти мы умираем. Человек существует лишь постольку, поскольку он отделен от своего окружения. Черепная коробка – это как бы шлем астронавта. Снимешь его – погибнешь. Смерть есть разоблачение, растворение. Оно и хорошо, может быть, смешаться с пейзажем,

но для легкоранимого «я» это конец. Чувство, которое испытывал Пнин, чем-то очень напоминало такого рода разоблачение или растворение. Он ощущал себя пористым и уязвимым. Обливался потом. Был испуган. Каменная скамья под лавровыми деревьями спасла его от падения на панель. Не сердечный ли это был припадок? Сомневаюсь. В настоящую минуту я его врач, так что позволю себе повторить, что я сомневаюсь в этом. Мой пациент был одним из тех своеобразных и несчастливых людей, которые относятся к своему сердцу («полому мышечному органу», по омерзительному определению «Нового университетского словаря Вэбстера», лежавшего в осиротевшем чемодане Пнина) с брезгливым страхом, с нервным отвращением, с болезненной ненавистью, как если бы оно было каким-то сильным, слизистым, неприкасаемым чудовищем, паразитом, которого, к несчастью, приходится терпеть. Изредка, когда озадаченные его спотычливым пульсом врачи исследовали его более тщательно, кардиограф вычерчивал баснословные горные кряжи и указывал сразу на несколько недугов, все сплошь роковых, но исключавших один другой. Он боялся дотрагиваться до запястья. Он никогда не пытался заснуть на левом боку, даже в те гнетущие часы ночи, когда бессонный страдалец мечтает о третьем боку, перепробовав оба имеющихся в наличии.

И вот теперь в парке Витчерча Пнин испытывал то, что уже испытал 10 августа 1942 года, и 15 февраля (день его рождения) 1937-го, и 18 мая 1929-го, и 4 июля 1920-го – а именно, что отвратительный автомат, которому он дал приют, обнаруживал свое собственное, независимое сознание и не только нагло зажил своей жизнью, но еще и причинял ему паническое страдание. Он прижал свою бедную лысую голову к каменной спинке скамьи и стал вспоминать все прошлые случаи такого же тревожного отчаянья. Не воспаление ли это легких на сей раз? За два дня перед тем его пробрало до костей на одном из тех сильных американских сквозняков, какими хозяин ветреным вечером потчует своих гостей после второй рюмки. Внезапно Пнин (да уж не умирает ли он?) заметил, что соскальзывает назад, в свое детство. Это ощущение обладало драматической остротой ретроспективных подробностей, что, как говорят, бывает у утопающих, особенно в старом русском флоте, – феномен удушья, который один крупный специалист по психоанализу, коего имя я запомнил, объясняет как подсознательно возобновленное потрясение, испытанное при крещении, что вызывает взрыв промежуточных воспоминаний о событиях между первым погружением и последним. Все это произошло мгновенно, но нет возможности описать это короче, чем чередую нижеследующих слов.

Пнин происходил из почтенной, довольно состоятельной петербургской семьи. Его отец, д-р Павел Пнин, окулист с солидной репутацией, однажды имел честь

лечить Толстого от конъюнктивита. Мать Тимофея, хрупкая, нервная, маленькая, коротко подстриженная, с осиной талией, была дочь некогда известного революционера Умова и рижской немки. В своем полуобмороке он увидел приближающиеся глаза матери. Было воскресенье в середине зимы. Ему было одиннадцать лет. Он готовил уроки на понедельник для классов в первой гимназии, когда его тело прохватил странный озноб. Мать поставила ему градусник, посмотрела на свое дитя в каком-то ошеломлении и немедленно послала за лучшим другом мужа, педиатром Белочкиным. Это был небольшого роста человек с густыми бровями, короткой бородкой и остриженной бобриком головой. Откинув полы сюртука, он присел на край Тимофеевой постели. Тут толстый золотой брегет доктора и пульс Тимофея пустились наперегонки – и пульс легко победил. Затем грудь Тимофея обнажили, и Белочкин прижался к ней ледяной наготою уха и наждачной головой. Подобно плоской подошве какой-то одноножки, ухо передвигалось по всей спине и груди Тимофея, приклеиваясь то к тому, то к другому месту на его коже и топя дальше. Как только доктор ушел, мать и дюжая горничная с английскими булавками в зубах упаковали несчастного маленького пациента в компресс, похожий на смирительную рубашку. Он состоял из слоя намоченного полотна, слоя потолще из гигроскопической ваты и еще одного, из тесной фланели с дьявольски липкой клеенкой – цвета мочи и лихорадки, – лежавшей между крайне неприятным, землисто-сырым и холодным, облежавшим кожу полотном и мучительно скрипучей ватой, вокруг которой был намотан наружный слой фланели. Тимоша – бедная куколка в коконе – лежал под грудой добавочных одеял, но они ничего не могли поделать с разветвлявшимся ознобом, который полз по ребрам с обеих сторон его окоченевшего хребта. Он не мог закрыть глаза, потому что саднило веки. Зрение было сплошным овальным страданием из-за косых кинжальных ударов света; привычные формы сделались рассадниками дурных видений. Возле его постели стояла четырехстворчатая ширма полированного дерева с выжженными на ней рисунками, изображавшими верховую тропу, словно войлоком устланную палой листвой, пруд с водяными лилиями, старика, ссутулившегося на скамье, и белку, державшую в передних лапках какой-то красноватый предмет. Тимоша, будучи мальчиком методичным, часто пытался выяснить, что бы это могло быть (орех? сосновая шишка?), и теперь, когда ему нечего было больше делать, он положил себе разрешить эту скучную загадку, но жар, гудевший в голове, потоплял всякое усилие в панической боли. Еще более тягостным был его поединок с обоями. Он и прежде замечал, что комбинация, состоявшая в вертикальном направлении из трех разных гроздей лиловых цветов и семи разных дубовых листьев, повторялась несколько раз с успокоительной правильностью; но теперь ему мешал тот неотвязный факт, что он не мог найти системы, регулировавшей сцепы и переплеты, если двигаться в

горизонтальном направлении узора; что такая регулярность существовала, доказывалось тем, что он мог выхватить там и сям, по всей стене от постели до шкапа и от печки до двери, появление то того, то другого элемента рисунка; но когда он пытался путешествовать вправо или влево от любой произвольно выбранной группы из трех соцветий и семи листьев, он тотчас терялся в беспорядочной заросли рододендрона и дуба. Было ясно, что ежели злонамеренный затейник – разрушитель рассудка, сообщник лихорадки – спрятал ключ к этому узору с таким чудовищным тщанием, то ключ этот должен быть драгоценен не менее самой жизни, и если он отыщется, то к Тимофею Пнину возвратится его обычное здоровье, его привычный мир; и эта ясная – увы, чересчур уж ясная – мысль заставляла его упорно продолжать борьбу.

Чувство, что он опаздывает на какую-то точно назначенную встречу, столь же неукоснительную, что и час начала занятий в гимназии, час обеда или час, когда нужно было идти спать, заставляло его неуклюже торопиться и оттого еще больше затрудняло его исследование, постепенно переходившее в бред. Листья и цветы, нисколько не нарушая своих сложных переплетений, казалось, отделились цельной зыблущейся группой от своего бледно-голубого фона, который, в свою очередь, переставал быть плоской бумагой и прогибался в глубину, покуда сердце зрителя едва не разрывалось в ответном расширенье. Он еще мог различить сквозь отдельные гирлянды некоторые наиболее живучие детали детской – например, полированную ширму, блик стакана, медные набалдашники кровати, но они были еще меньшей помехой для дубовых листьев и роскошных цветов, чем отраженье обиходного предмета в оконном стекле препятствовало созерцанию наружного пейзажа сквозь это самое стекло. И хотя жертва и свидетель этих галлюцинаций лежал спеленутым в постели, он, в согласии с двойственной природой своего окружения, одновременно сидел на скамье в зелено-лиловом парке. На один тающий миг он почувствовал, что держит наконец ключ, который искал; но издали прилетевший шелестящий ветер, мягко нарастая и трепля рододендроны – теперь уже облетевшие, незрячие, – нарушил всякую систему в расположении предметов, некогда окружавших Тимофея Пнина. Он был жив, и на том спасибо. Спинка скамьи, к которой он привалился, ощущалась столь же явственно, что и его одежда, бумажник или год великого московского пожара – 1812-й.

Серая белка, с удобством сидевшая перед ним на задних лапках на земле, грызла косточку от персика. Ветер перевел дыхание и скоро снова зашелестел листвою.

После припадка он был слегка напуган и слаб, но убеждал себя, что ежели б то был настоящий сердечный приступ, он, конечно, чувствовал бы себя гораздо более разбитым и встревоженным, и это окольное рассуждение окончательно разогнало его страх. Было двадцать минут пятого. Он высморкался и поплелся к станции.

Первый служащий вернулся.

- Вот ваш чемодан, - сказал он весело. - Жаль, что пропустили кремонский автобус.

- По крайней мере, - и сколько величавой иронии наш незадачливый друг пытался вложить в это «по крайней мере», - я надеюсь, ваша жена благополучна?

- Что ей сделается. Видать, не сегодня, так завтра.

- Ну что ж, - сказал Пнин, - теперь укажите мне, где находится публичный телефон.

Служащий сделал карандашом указательный жест, заведя его так далеко вперед и в сторону, как только мог, не покидая своего закутка. Пнин с чемоданом в руке пошел было в этом направлении, но тут его позвали обратно. Карандаш теперь был направлен в сторону улицы.

- Вон видите, там двое ребят нагружают фургон? Им как раз ехать в Кремону. Скажете, что вы от Боба Горна; они вас подвезут.

3

Иные люди (к числу которых принадлежу и я) терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло в порядке вещей. Судьбы не переломишь. Лавина, останавливающаяся на своем пути в нескольких шагах над съезжившимся селением, ведет себя не только противоестественно, но и противонравственно. Если б я читал об этом кротком пожилom человеке, вместо

того чтобы писать о нем, то я бы предпочел, чтобы он по прибытии в Кремону обнаружил, что его лекция назначена не на эту пятницу, а на следующую. Но в действительности он не только благополучно добрался до места, но еще и поспел к обеду: сначала фруктовый коктейль, потом мятное желе к безымянному жаркому, затем шоколадный сироп к сливочному мороженому. А вскоре вслед за тем, наевшись сладкого, надев свой черный костюм и пожонглировав тремя манускриптами, которые он рассовал по сюртучным карманам с тем, чтобы всегда иметь под рукой нужный (таким образом предупреждая несчастный случай с математической безусловностью), он сидел на стуле возле кафедры, в то время как с самой кафедры лектора представляла Джудит Клайд, неопределенного возраста блондинка в аквамариновом искусственного шелка платье, с большими плоскими щеками, подкрашенными в чудный карамельно-розовый цвет, и с парой блестящих глаз, купающихся в лишенной всякой мысли голубизне позади пенснэ без ободков.

– Сегодня, – сказала она, – перед нами выступит... это, кстати, наш третий пятничный вечер; в прошлый раз, как все вы помните, все мы получили большое удовольствие, прослушав лекцию профессора Мура о сельском хозяйстве в Китае. Я горжусь тем, что могу сказать, что сегодня здесь среди нас – уроженец России и гражданин нашей страны, профессор – боюсь, тут выйдет запинка – профессор Пун-нин. Надеюсь, я не ошиблась в произношении. Конечно, его едва ли нужно представлять, и все мы счастливы видеть его. У нас впереди долгий вечер, долгий и многообещающий вечер, и я уверена, что всем вам хотелось бы задать ему потом вопросы. Мне между прочим стало известно, что его отец был домашним доктором Достоевского и что самому ему довелось побывать по обе стороны Железного Занавеса. Поэтому не стану отнимать у вас больше драгоценного времени, а только прибавлю несколько слов о нашей лекции в следующую пятницу в рамках этой программы. Уверена, что все вы будете в восторге, когда услышите, что всем нам приготовлен дивный сюрприз. Наш следующий лектор – мисс Линда Лэйсфильд, выдающаяся поэтесса и прозаик. Все мы знаем, что она автор стихов, прозы и нескольких рассказов. Мисс Лэйсфильд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались по разные стороны в Революционную войну. Еще студенткой она написала свое первое стихотворение. Многие ее стихотворения – по меньшей мере, три – были опубликованы в сборнике «Отклики: Сто стихотворений американских женщин о любви». В тысяча девятьсот двадцать втором году она удостоилась денежной премии за ___.

Но Пнин не слушал. Его зачарованным вниманием владела легкая рябь, вызванная его недавним припадком. Это состояние длилось всего несколько

сердечных ударов, с лишней систолой там и сям – последние, безвредные отзвуки, – и растворилось в прозаической действительности, когда почтенная председательница пригласила его на кафедру; но пока это длилось – каким же прозрачно-ясным было видение! В середине первого ряда он видел одну из своих остзейских теток, в жемчугах, кружевах и белокуром парике, надевавшаяся ею на все спектакли знаменитого провинциального актера Ходотова, которому она поклонялась издали, покуда не помешалась в рассудке. Рядом с нею, застенчиво улыбаясь, наклонив гладкую темноволосую голову, сияя Пнину нежным карим взором из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, покойная его возлюбленная. Убитые, забытые, неотмщенные, неподкупные, бессмертные – множество старых его друзей было рассажено там и сям в этой туманной зале вперемежку с новыми его знакомыми, вроде г-жи Клайд, скромно вернувшейся на свое место в первом ряду. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был кадет, из глубины залы радостно подавал знаки своему бывшему однокашнику. А в неприметном месте д-р Павел Пнин со своей взволнованной женой – оба слегка расплывающиеся, но, в общем, прекрасно восстановленные из состояния неисследимого распада, – смотрели на своего сына с той же безоглядной страстью и гордостью, с какой они смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном годовщине победы над Наполеоном, он продекламировал (одиноко стоящий на сцене мальчик в очках) стихотворение Пушкина.

Краткое видение исчезло. Старенькая мисс Херринг, профессорша истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается» (1922), перегибалась через двух соседок, чтобы сказать комплимент мисс Клайд по поводу ее речи, меж тем как из-за ее спины другая сияющая старуха просовывала в поле ее зрения свои увядшие, беззвучно аплодирующие руки.

Глава вторая

Лоренс Дж. Клементс, вэйндельский профессор, единственным популярным курсом которого была «Философия жеста», и его жена Джоана (окончившая Пендельтон в 1930 году) недавно простились с дочерью, лучшей студенткой отца: не закончив курса, Изабелла вышла замуж за выпускника Вэйнделя, получившего место инженера в далеком западном штате.

Звон колоколов музыкально переливался на серебристом солнце. Обрамленный широким окном, городок Вэйндель – белые дома, черный узорчатый рисунок веток – вплоть до грифельно-серых холмов простирался в примитивной перспективе как на детском рисунке, лишенный воздушной глубины; все было красиво разубрано инеем; блестящие части запаркованных машин блестели; старый скотч-терьер г-жи Дингволь, похожий на цилиндрического кабанчика, отправился в обычный свой обход по Ворренской, оттуда по Спелман-авеню и обратно; однако никакие добрососедские отношения, ни выхоженный ландшафт, ни переливчатый звон не в силах были скрасить времени года; через две недели, переварив паузу, академический год вступал в самую свою зимнюю стадию – «весенний семестр», и Клементсы испытывали уныние и тревожное чувство осиротелости в своем милом, старом, насквозь продуваемом доме, который теперь, казалось, висел на них, как дряблая кожа и болтающаяся одежда на каком-нибудь дуралее, который ни с того ни с сего сбросил треть своего веса. Ведь Изабелла была так еще молода, так рассеянна, и они, в сущности, ничего не знали о родителях ее мужа, если не считать свадебного набора гостей с марципанными лицами в наемной зале, с расплывчатой невестой, без своих очков выглядевшей такой беспомощной.

Колокола под энергичным управлением д-ра Роберта Треблера, бойкого сотрудника музыкального факультета, все еще в полную силу звучали в райской вышине, в то время как Лоренс, светловолосый, с залысинами, нездоровой полноты мужчина, за скудным завтраком из апельсинов и лимонов бранил главу французской кафедры, одного из приглашенных Джоаной к ним на вечер в честь профессора Энтвисла из Гольдвинского университета. «Ну для чего, – ворчал он, – понадобилось тебе звать этого скучнейшего Блоренджа, эту мумию, этот оштукатуренный столп просвещения?» – «Но мне нравится Анна Блорендж», – сказала Джоана, подкрепляя кивками свои слова. «Вульгарная старая ехидна!» – воскликнул Лоренс. «Жалостная старая ехидна», – пробормотала Джоана, – и тут только д-р Треблер перестал трезвонить, и на смену ему зазвонил телефон в передней.

С профессиональной точки зрения искусство вставлять в повествование телефонные разговоры все еще далеко отстает от умения передавать диалоги, которыми перебрасываются из комнаты в комнату или из окна в окно через какую-нибудь узкую голубую улочку в старинном городе, где вода драгоценна, а ослики несчастны, где торгуют коврами, где минареты, чужеземцы, и дыни, и раскатистое утреннее эхо. Когда Джоана своим бодрым долголягим шагом подошла к неотвязному телефонному аппарату и успела, прежде чем он перестал звонить, сказать «алло» (брови подняты, глаза блуждают), ее приветствовала гулкая тишина; слышен был только непринужденный звук ровного дыхания; потом голос дышавшего произнес с уютным иностранным акцентом: «Извините, одну минутку», – это было сказано как-то между прочим, и он продолжал дышать и как будто хмыкать или даже слегка вздыхать под аккомпанемент шороха перелистываемых страничек.

– Алло! – повторила она.

– Вы миссис Файр? – осторожно предположил голос.

– Нет, – сказала Джоана и повесила трубку. – А кроме того, – продолжала она, вернувшись на кухню и обращаясь к мужу, который принялся было за бэкон, приготовленный ею для себя, – ты ведь не станешь отрицать, что Джэк Коккерель считает Блоренджа первоклассным администратором.

– Кто это?

– Кому-то понадобилась миссис Фойер или Фэйер. Послушай, если ты сознательно пренебрегаешь советами Джорджа... (д-р О. Дж. Хельм, их домашний врач.)

– Джоана, – сказал Лоренс, который почувствовал себя гораздо лучше после этого перламутрового ломтика сала, – Джоана, душенька, помнишь, ты сказала вчера Маргарите Тэер, что ищешь квартиранта?

– Ах да! как это я... – сказала Джоана, и тут же телефон услужливо зазвонил снова.

– Мне очевидно, – раздался тот же голос, возобновляя разговор как ни в чем не бывало, – что я по ошибке воспользовался именем сообщника. Я соединен с

миссис Клемент?

- Да, это миссис Клементс, - сказала Джоана.

- Это говорит профессор... - последовал пресмешной коротенький взрыв. - Я веду русские классы. Миссис Файр, которая в настоящее время служит в библиотеке по часам -

- Да, миссис Тэер, знаю. Что же, хотите посмотреть комнату?

Да. Может ли он придти осмотреть ее приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. И она безо всякой нежности положила трубку на рычаг.

- Кто на сей раз? - спросил ее муж, оборачиваясь (его пухлая веснущатая рука лежала на перилах) с лестницы по пути вверх, в укрытие своего кабинета.

- Пинг-понговый мячик, треснувший. Русский.

- Так это профессор Пнин! - воскликнул Лоренс. - «Еще бы, как не знать, - алмаз безценный...»[7 - «Гамлет».] Ну уж дудки, я решительно отказываюсь жить под одной крышей с этим монстром.

Он свирепо протопал вверх. Она крикнула ему вдогонку:

- Лор, ты кончил вчера свою статью?

- Почти. - Он был уже за лестничным поворотом - она слышала, как скрипела и потом ударяла по перилам его ладонь. - Сегодня кончу. Сначала я должен приготовить этот экзамен по Э. С., будь он неладен.

Э. С. значило «Эволюция Смысла» - самый лучший его курс (на котором числилось двенадцать человек, даже отдаленно не напомилавших апостолов); он открывался и должен был закончиться изречением, которому предназначено было сделаться когда-нибудь крылатым: «В известном смысле, эволюция смысла есть эволюция бессмыслицы».

Полчаса спустя Джоана бросила взгляд в окно веранды поверх полумертвых кактусов и увидела мужчину в макинтоше, без шляпы, с головой, похожей на отполированный медный шар, энергично звонившего в дверь красивого кирпичного особняка соседки. Старый скотч-терьер стоял рядом с ним с точно таким же доверчивым выражением. Мисс Дингволь вышла со шваброю в руке, впустила неторопливого, исполненного достоинства пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клементсов.

Тимофей Пнин уселся в гостиной, заложив ногу на ногу «по-американски» [8 - Американцы закладывают ногу на ногу поперек, голенью одной на колено другой, под прямым углом, иногда даже захватывая и подтягивая к себе лодыжку рукой.], и пустился в ненужные подробности. Удостоверение личности в достоверных околичностях. Родился в Петербурге в 1898 году. Родители умерли от тифа в 1917-м. Уехал в Киев в 1918-м. Пять месяцев был в Белой Армии, сначала «полевым телефонистом», потом в канцелярии военной разведки. В 1919-м бежал из захваченного красными Крыма в Константинополь. Закончил курс в университете в Праге –

– Так ведь я девочкой жила там, и как раз в том же самом году, – обрадованно сказала Джоана. – Мой отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Подумать, могли ведь встретиться! Я помню, как по-турецки «вода». Там еще был сад с розами...

– Вода по-турецки «су», – сказал Пнин, лингвист поневоле, и продолжал рассказ о своем увлекательном прошлом: – Закончил курс в Праге. Был связан с различными научными заведениями. Затем... Ну, а если более короче говоря: с 1925-го обитал в Париже, покинул Францию в начале войны с Гитлером. Теперь находится здесь. Американский гражданин. Преподает русский язык и тому подобное в Вандальском университете. Рекомендации можно получить у Гагена, главы германского факультета. Или от университетского Дома для несемейных преподавателей.

Там ему было неудобно?

– Слишком много людей, – сказал Пнин. – Назойливых людей. Между тем как мне теперь абсолютно необходимо специальное уединение. – Он кашлянул в кулак с неожиданно гулким звуком (чем-то напомнившим Джоане профессионального донского казака, с которым ее однажды познакомили) и затем пустился напропалую: – Должен предупредить вас, мне нужно будет вырвать все зубы. Это отвратительная операция.

– Ну, пойдемте вверх, – весело сказала Джоана.

Пнин заглянул в комнату Изабеллы с розовыми стенами и белыми воланами. Вдруг пошел снег, хотя небо было из чистой платины, и медленный искристый снегопад отражался в безмолвном зеркале. Пнин внимательно осмотрел «Девушку с кошкой» Хейкера над кроватью и «Заплутавшего козленка» Ханта над книжной полкой. Потом он подержал ладонь на небольшом расстоянии от окна.

– Температура ровная?

Джоана бросилась к радиатору.

– Раскаленный, – сообщила она.

– Я спрашиваю – нет ли воздушных течений?

– О да, у вас будет масса воздуха. А здесь ванная – маленькая, но зато полностью в вашем распоряжении.

– Душа нет? – осведомился Пнин, посмотрев вверх. – Может быть, так даже лучше. Мой друг Шато, профессор Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух местах. Теперь я должен подумать. Какую плату вы готовите назначить? Я спрашиваю об этом, потому что не дам больше одного доллара в день – не считая, разумеется, провианта.

– Хорошо, – сказала Джоана со своим приятным, быстрым смешком.

В тот же день Чарльз Макбет, один из студентов Пнина («По-моему, сумасшедший – судя по его сочинениям», – говаривал Пнин), с особенным

рвением перевез пнинскую поклажу в своей патологически фиолетовой машине без левого крыла, и после раннего обеда в недавно открытом и не очень преуспевающим ресторанчике «Яйцо и Мы», куда Пнин ходил из одного сочувствия к неудачникам, наш друг занялся приятным делом пнинизации своего нового жилища. Отрочество Изабеллы ушло вместе с нею, или, может быть, ее мать стерла все, что о нем напоминало, но какие-то атрибуты девичьего детства все-таки уцелели, и прежде чем найти наиболее подходящие места для своей громоздкой солнечной лампы, огромной пишущей машинки с русским алфавитом, в треснутом и подклеенном пластырем гробу, пяти пар отличных, курьезно маленьких башмаков с вросшими в них колодками, кофейной мельницы-кипятильника – хитрой штуковины, которая несколько уступала той, что взорвалась в прошлом году, четы будильников, каждую ночь бегавших взапуски, и семидесяти четырех библиотечных книг, главным образом старых русских журналов в прочных переплетах Б(ибблиотеки) В(эйндельского) К(олледжа), – Пнин деликатно выселил на стул на лестничной площадке полдюжины осиротевших томов, как то: «Птицы у тебя дома», «Счастливые дни в Голландии» и «Мой первый словарь (Свыше боо научно подобранных иллюстраций животных, человеческого организма, ферм и пожаров)», а также одинокую деревянную бусину с дыркой посередине.

Джоана, которая, быть может, несколько злоупотребляла словом «жалостный», объявила, что она намерена пригласить этого жалостного ученого выпить с их гостями, на что ее муж возразил, что он тоже жалостный ученый и что он уйдет в кинематограф, если она приведет свою угрозу в исполнение. Однако, когда Джоана поднялась к Пнину со своим приглашением, он отклонил его, сказав напрямик, что решил более не употреблять спиртного. Три супружеские пары и Энтвисл пришли около девяти, а к десяти вечеринка была в полном разгаре, – как вдруг Джоана, беседуя с хорошенькой Гвен Коккерель, заметила Пнина в зеленом свэтере, который стоял в дверях, ведущих к подножию лестницы, и высоко держал стакан, так, чтобы она обратила внимание. Она поспешила к нему – и с ней едва не столкнулся муж, одновременно рысью пересекавший комнату, чтобы остановить, задушить, уничтожить Джэка Коккереля, начальника английской кафедры, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым номером – он, пожалуй, лучше всех на кампусе[9 - Кампусом называется территория университета, весь вообще университетский городок.] изображал Пнина. Между тем объект его имитаций говорил Джоане: «В ванной нет чистого стакана, а имеются другие неудобства. Дует от пола, дует от стен, и...» Но д-р Гаген, приятный, прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно приветствовал его, а еще через минуту Пнин, получив взамен своего пустого стакан шотландского

виски на льду с содовой, был представлен профессору Энтвислу.

– Здравствуйте-как-поживаете-хорошо-спасибо, – оттараторил Энтвисл, превосходно подражая русской речи, – да он и впрямь напоминал добродушного царского полковника в штатском. – Как-то раз в Париже, – продолжал он, весело поблескивая глазами, – когда я произнес это в кабаре «Уголок», пировавшие там русские были в полной уверенности, что я их соотечественник и только притворяюсь американцем.

– Через два-три года, – сказал Пнин, прозевав переднюю подножку, но вскакивая на заднюю, – меня тоже будут принимать за американца, – и все, кроме профессора Блоренджа, расхохотались.

– Мы добудем для вас электрический обогреватель, – шопотом сказала Пнину Джоана, подавая ему оливки.

– Какой марки электрический обогреватель? – подозрительно спросил Пнин.

– Там видно будет. Других жалоб нет?

– Да: шум мешателен, – сказал Пнин. – Мне слышно каждый, просто каждый звук внизу, но, по-моему, теперь не место обсуждать этот вопрос.

3

Гости начали расходиться. Пнин поплелся к себе наверх с чистым стаканом в руке. Энтвисл и хозяин вышли на крыльцо последними. В черной ночи плыл мокрый снег.

– Какая жалость, – сказал профессор Энтвисл, – что мы не можем переманить вас в Гольдвин насовсем. У нас и Шварц, и старик Крэйтс, оба горячие ваши поклонники. У нас настоящее озеро. У нас есть все что хотите. У нас даже есть свой профессор Пнин.

– Знаю, знаю, – сказал Клементс, – но предложения этого рода, а я их теперь то и дело получаю, опоздали. Я намерен скоро выйти в отставку, а до тех пор не прочь оставаться в своей затхлой, но зато привычной дыре. Как вам понравился, – тут он понизил голос, – мсье Блорендж?

– Он производит впечатление славного малого. Однако должен сказать, что кое в чем он напоминает мне того, вероятно вымышленного, главу французской кафедры, который полагал, что Шатобриан – это знаменитый повар.

– Шш... – сказал Клементс. – Первый раз этот анекдот был рассказан именно о Блорендже, и это чистая правда.

4

На другое утро Пнин героически отправился в город, прогуливая свою трость на европейский манер (вверх-вниз, вверх-вниз) и подолгу задерживая взор на разных предметах, философически пытаюсь вообразить, каково будет увидеть их снова после пытки и вспоминать, какими они казались ему сквозь призму ее ожидания. Через два часа он тащился обратно, налегая на трость и ни на что уж не глядя. Горячий прилив боли мало-помалу вытеснял ледяную одеревенелость анестезии во рту – оттаивавшем, еще полумертвом, отвратительно истерзанном. После этого он несколько дней был в трауре по интимной частице своего организма. Он вдруг с удивлением понял, как любил он свои зубы. Его язык – толстый, гладкий тюлень, – бывало, так радостно шлепался и скользил по знакомым утесам, проверяя контуры своих изрядно потрепанных, но все еще прочных владений, ныряя из пещеры в затон, карабкаясь на острый уступ, ютясь в ущелье, находя лакомый кусочек водоросли всегда в той же старой расселине. А теперь не было больше ни единой вешки – одна только большая, темная рана, terra incognita десен, исследовать которую не позволяли страх и отвращение. И когда протезы были вставлены, получился как бы бедный ископаемый череп, которому приделали совершенно чужие оскаленные челюсти.

Как и было заранее рассчитано, лекций он в это время не читал; не присутствовал он и на экзаменах, которые за него давал Миллер. Минуло десять дней – и вдруг ему стало нравиться это новое приспособление. Это было откровение, восход солнца, полный рот крепкой, умелой, алебастровой,

гуманной Америки. Ночью он хранил свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, где оно жемчужно-розово улыбалось самому себе как некий чудный представитель глубоководной морской флоры. Большой труд о Старой России, дивная мечта, смесь фольклора, поэзии, истории общества и Petite Histoire[10 - История в занимательных рассказах.], которую он любовно вынашивал вот уже лет десять, теперь наконец казалась достижимой, когда головные боли исчезли и появился этот новый амфитеатр из полупрозрачного пластика, как бы подразумевающий рампу и спектакль. Как только начался весенний семестр, его класс не мог не заметить магической перемены: он сидел, кокетливо постукивая резинкой карандаша по этим ровным, даже чересчур ровным резцам и клыкам, в то время как студент переводил из «Русского языка для начинающих» профессора Оливера Брэдстрита Манна, цветущего старика (на самом деле это пособие было от начала и до конца написано двумя худосочными тружениками, Джоном и Ольгой Кроткими, ныне покойными), предложение вроде «Мальчик играет со своей няней и со своим дядей». А однажды вечером он подкараулил Лоренса Клементса, который пытался было проскользнуть наверх в свой кабинет, и с безсвязными восклицаниями восторга принялся демонстрировать красоту предмета, легкость, с которой его можно было вынимать и снова вставлять, и стал уговаривать пораженного, но добродушного Лоренса завтра же первым делом пойти и удалить все свои зубы.

– Вы будете обновленный человек, как я, – кричал Пнин.

К чести Лоренса и Джоаны надо сказать, что они довольно скоро оценили Пнина по его несравненному пнинскому достоинству, несмотря на то что он был у них не столько квартирант, сколько что-то вроде домового. Он непоправимо испортил свой новый обогреватель и мрачно сказал, что это ничего, все равно теперь уже скоро весна. У него была раздражающая привычка утром стоять на лестнице и усердно чистить там свою одежду, по крайней мере минут по пяти каждый Божий день, тренькая щеткой о пуговицы. У него завязался страстный роман со стиральной машиной Джоаны. Несмотря на запрещение и приближаться к ней, он то и дело попадался с поличным. Забывая всякое приличие и осторожность, он, бывало, скармливал ей все, что подворачивалось под руку: свой носовой платок, кухонные полотенца, груды трусиков и рубашек, контрабандой принесенных вниз из своей комнаты, – все это ради удовольствия понаблюдать сквозь ее иллюминатор за тем, что походило на бесконечное кувырканье больных вертежом дельфинов. Как-то раз в воскресенье, убедившись, что он один, он не мог удержаться и из чисто научного интереса дал мощной машине поиграть парой парусиновых туфель на резиновом ходу, измазанных глиной и хлорофиллом; туфли затоптали с ужасным нестройным

грохотом, как армия, переходящая через мост, и вернулись без подошв, а Джоана появилась в дверях своего будуарчика позади буфетной и печально сказала: «Опять, Тимофей?» Но она прощала ему и любила сидеть с ним за кухонным столом, щелкая орехи или попивая чай. Дездемоне, старой негритянке-поденщице, которая приходила по пятницам и с которой одно время ежедневно беседовал Бог («Дездемона, – говорил мне Господь, – этот твой Джордж человек негодный»), случилось мельком увидеть Пнина, нежившегося в нездешних сиреневых лучах своей солнечной лампы, когда на нем не было ничего, кроме трусиков, темных очков и ослепительного православного креста на широкой груди, – и с тех пор она уверяла, что он святой. Однажды Лоренс, войдя в свой кабинет, свою потайную и заветную нору, хитроумно выкроенную из чердака, с негодованием обнаружил там мягкий свет и жирный затылок Пнина, который, расставив шуплые ноги, преспокойно листал страницы в углу: «Извините, здесь я только „пасусь“», – кротко заметил незванный гость (английский которого обогащался с поразительной быстротой), едва оглянувшись через приподнятое плечо; но каким-то образом в тот же день случайная ссылка на редкого автора, мелькнувший намек, молча узанный на полпути к некоей идее, отважный парус, обозначившийся на горизонте, незаметно привел их обоих к настоящему и нежному взаиморасположению, оттого что оба они чувствовали себя в своей тарелке только в теплом мирке подлинной науки. Люди, как и числа, бывают целые и иррациональные, и Клементс с Пниным принадлежали ко второй разновидности. С того времени они часто беседовали, когда встречались и останавливались на порогах, на лестничных площадках, на двух разных уровнях ступеней (меняясь уровнями и снова оборачиваясь друг к другу) или когда в противоположных направлениях шагали по комнате, которая в тот момент была для них всего лишь *espace meuble*[11 - Обставленным пространством.], по определению Пнина. Вскоре выяснилось, что Тимофей был настоящей энциклопедией русских пожиманий плечами и покачиваний головой, что он классифицировал их и мог кое-чем пополнить Лоренсов каталог философской интерпретации жестов, зарисованных и незарисованных, национальных и местных. Очень бывало приятно наблюдать, как они вдвоем обсуждают какую-нибудь легенду или верование: то Тимофей расцветает в вазообразном жесте, то Лоренс рубит рукой воздух. Лоренс даже снял на пленку то, что Тимофей считал основными русскими «кистевыми жестами»: Пнин, в теннисной рубашке, с улыбкой Джоконды на губах, демонстрирует движения, лежащие в основе таких русских глаголов (употребляемых применительно к рукам), как махнуть, всплеснуть, развести: свободный, одной рукой сверху вниз, отмах усталой уступки; драматический, обеими руками, всплеск изумленного отчаяния; и «разъединительное» движение – руки расходятся в стороны, означая беспомощную покорность. А в

заключение, очень медленно, Пнин показал, как всего лишь пол-оборота пальца, вроде стремительного движения кисти в фехтовальном выверте, превратили международный жест «грозящего пальца» из русского торжественного указания наверх («Судия Небесный на тебя взирает!») в немецкое наглядное изображение палки – «ужо я тебе!». «Однако, – добавил объективный Пнин, – русская метафизическая полиция тоже очень хорошо умеет ломать физические кости».

Извинившись за свой «небрежный туалет», Пнин показал этот фильм группе студентов, и Бетти Блосс, аспирантка с кафедры сравнительной литературы, где Пнин ассистировал д-ру Гагену, объявила, что Тимофей Павлович просто вылитый Будда из восточной кинокартины, которую она видела на азиатской кафедре. Эта Бетти Блосс, пухленькая, по-матерински заботливая женщина лет двадцати девяти, сидела мягкой занозой в стареющей плоти Пнина. Десятью годами раньше у нее был любовник, красивый негодяй, который бросил ее ради какой-то шлюшки, а потом у нее был затяжной, отчаянно сложный роман, скорее в духе Чехова, нежели Достоевского, с одним калекой, который теперь был женат на своей сиделке, низкопробной крале. Бедный Пнин колебался. В принципе он не исключал возможности брака. На одном семинаре, после того как все ушли, он в своем новом полнозубом великолепии зашел так далеко, что удержал ее руку на своей ладони, похлопывая ее, пока они сидели вдвоем и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы». Она едва могла дочитать до конца, грудь ее разрывалась от вздохов, пойманная рука трепетала. «Тургенев, – сказал Пнин, возвращая ее руку на стол, – должен был валять дурака в шарадах и tableaux vivants [12 - Живые картины.] ради некрасивой, но обожаемой им певицы Полины Виардо, а г-жа Пушкина как-то сказала: „Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин“, а жена исполина, исполина Толстого – подумать только! – на старости лет предпочла ему глупого музыканта с красным носом!»

Пнин ничего не имел против мисс Блосс. Пытаясь мысленно представить себе безмятежную старость, он довольно ясно видел, как она приносит ему плэд или набирает чернила в его автоматическое перо. Она, несомненно, нравилась ему – но его сердце принадлежало другой.

Кота в мешке, как говорил Пнин, не утаишь [13 - Пнин здесь смешивает английскую поговорку «выпустить кошку из мешка» (со значением невольного или вынужденного раскрытия тайны) с русской о шиле в мешке.]. Чтобы объяснить малодушное волнение моего бедного друга однажды вечером в середине семестра – когда он получил некую телеграмму и потом ходил взад и

вперед у себя в комнате по меньшей мере минут сорок, – следует заметить, что Пнин был холост не всегда. Клементсы играли в китайские шашки в отсветах комфортабельного камина, когда Пнин с грохотом спустился, поскользнулся и чуть не упал к их ногам, подобно челобитчику в каком-нибудь древнем городе, полном беззаконий, но восстановил равновесие – и все-таки наскочил на кочергу и щипцы.

– Я пришел, – сказал он, задыхаясь, – известить вас, или, вернее, спросить, могу ли я принять гостя женского пола в субботу – днем, разумеется. Это моя бывшая жена, ныне д-р Лиза Винд – может быть, вы слышаны в психиатрических кругах.

5

Глаза иных любимых женщин, благодаря случайному сочетанию блеска и разреза, действуют на вас не вдруг, не в самую минуту застенчивого созерцания, а как задержанная и нарастающая вспышка света, когда безсердечная особа отсутствует, но волшебная мука пребывает, и ее объективы и прожекторы наставлены на вас в темноте. Во всяком случае казалось, что глаза Лизы Пниной, ныне Винд, словно драгоценные камни чистой воды, выдавали свою суть, только если вызвать их в воображении, – и тогда белое, слепое, влажное аквамаринное пламя трепетало и внедрялось вам под веки солнечной и морской пылью. В действительности же глаза ее были светлой, прозрачной голубизны, оттененной черными ресницами, с ярко-розовым лузгом, слегка вытянутые к вискам, где от каждого веером разбежались мелкие кошачьи морщинки. У нее были темно-каштановые волосы, волной вздымавшиеся над глянцево-розовым лбом и снежно-розовым лицом, и она употребляла бледный губной карандаш, и кроме некоторой толстоватости лодыжек и запястий, в ее цветущей, оживленной, элементарной, не особенно холеной красоте трудно было бы отыскать какой-нибудь изъян.

Пнин, в то время молодой, подающий надежды ученый, и она, в то время больше, чем теперь, напоминавшая ясноглазую русалку, а впрочем, все та же, встретились в Париже в 1925 году или около того. У него была реденькая темно-русовая бородка (теперь, если б он не брился, пробилась бы только седая щетина – бедный Пнин, бедный дикобраз альбинос!), и эта раздвоенная монашеская

растительность, увенчанная пухлым блестящим носом и невинными глазами, прекрасно резюмировала внешний облик старомодной интеллигентской России. Средства к существованию ему доставляла скромная должность в Аксаковском институте на улице Вер-Вер, в сочетании с еще одной, в русском книжном магазине Савла Багрова, на улице Грессе. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой только что исполнилось двадцать лет, совершенно обворожительная в своем черном шелковом джемпере и спортивной юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой примечательной и внушительной пожилой дамой, д-ром Розеттой Стоун, одной из самых злобредных психиатрис того времени. А сверх того, Лиза писала стихи – большей частью запинаящимся анапестом; собственно, впервые Пнин увидел ее на одном из тех литературных вечеров, на которых молодые поэты-эмигранты, покинувшие Россию в период своего бледного, неизбалованного созревания, нараспев читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая была для них не более чем печальной стилизованной игрушкой, найденной на чердаке безделкой, хрустальным шаром, который встряхиваешь, чтобы устроить внутри светозарную метель над миньютюрной елкой и избушкой из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо – хранящееся теперь в частной коллекции, – и она прочла его, плача от жалости к себе, пока приходила в себя после покушения на самоубийство посредством фармацевтических порошков, вследствие довольно глупого романа с неким литератором, который теперь – Впрочем, оставим это. Пятеро психоаналитиков, все близкие ее друзья, в один голос сказали: «Пнин – и сразу же ребенка».

Брак мало в чем изменил их образ жизни – разве что она переехала в жалкую квартирку Пнина. Он продолжал свои занятия по славистике, она – свою психодраматическую деятельность и свою лирическую яйцекладку, повсюду кладя яички, как пасхальный кролик, и в этих зеленых и фиолетовых стихах – о ребенке, которого она хочет носить, и о любовниках, которых она хочет иметь, и о Петербурге (с легкой руки Ахматовой) – каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение уже были использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика, Жоржика Уранского, и за обед с шампанским в «Уголке» добился того, что милейший Жоржик посвятил свой очередной *feuilleton* в одной из русских газет высокой оценке Лизиной музыки, на каштановые кудри которой он преспокойно возложил венец Анны Ахматовой, после чего Лиза разразилась счастливыми слезами, – ну прямо как маленькая Мисс Мичиган или Королева Роз в Орегоне[14 - В Америке устраивают ежегодные соревнования за звание самой красивой девушки штата.]. Пнин, не будучи посвященным в это дело, носил сложенную вырезку этой безстыжей

ахиней с собою, в своем честном бумажнике, и забавлял своих друзей, безопасно цитируя из нее вслух, покуда она вконец не истрепалась и не испачкалась. Не был он посвящен и в некоторые более серьезные обстоятельства, и как раз наклеивал остатки статьи в альбом, когда декабрьским днем 1938 года Лиза телефонировала из Медона, чтобы сообщить, что уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее «органическое эго», неким д-ром Эрихом Виндом, и никогда больше с Тимофеем не увидится. Какая-то незнакомая рыжая француженка пришла за Лизиними вещами и сказала: «Что, крыса погребная, бедная девочка-то тю-тю – некого теперь taper dessus»[15 - Донимать.], – а месяца через два от д-ра Винда приковыляло немецкое письмо, полное выражений сочувствия и извинений и заверяющее lieber Herr Pnin в том, что он, д-р Винд, жаждет жениться на «женщине, которая пришла в мою жизнь из Вашей». Разумеется, Пнин дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы свою жизнь – с мокрыми цветами на долгих подрезанных стеблях, с листиком папоротника, завернутую так же ловко, как это делается в пахнущей землей цветочной лавке в Светлое Воскресенье, когда дождь превращает его в серо-зеленое зеркало; но тут выяснилось, что у д-ра Винда в Южной Америке имеется жена с затейливым умом и поддельным паспортом, которая просила ее не беспокоить до тех пор, пока не оформятся некоторые собственные ее виды. Между тем Новый Свет начал манить и Пнина; профессор Константин Шато из Нью-Йорка, большой его друг, предлагал ему всяческую помощь в переселении. Пнин уведомил д-ра Винда о своих планах и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, где она упоминалась на 202-й странице. Он уже прошел половину пути по тоскливому аду, изобретенному европейскими бюрократами (к вящему удовольствию Советов) для обладателей несчастных нансенских паспортов, выдаваемых русским эмигрантам (что-то вроде волчьего билета освобожденному из тюрьмы под честное слово), когда в сырой апрельский день 1940 года в его дверь резко позвонили, и в квартиру ввалилась Лиза и, отдуваясь и как комод неся пред собою семимесячную беременность, сорвала шляпку, скинула туфли и объявила, что все это было ошибкой и что отныне она снова верная и законная жена Пнина, готовая следовать за ним куда угодно – даже и за океан, если понадобится. Эти дни были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Пнина; это было непрерывное рдение увесистого мучительного блаженства – и поспевание посеянных по весне виз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прикладывавшего через рубашку фальшивый стетоскоп к съезжившемуся сердцу Пнина, и добрая русская дама (моя родственница), которая так помогла им в американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прелестный чистый пароход – на всем был драгоценный, сказочный налет. Он не только готов был усыновить ребенка, когда тот появится, но страстно желал этого, и она с довольным, несколько

коровьим выражением выслушивала педагогические планы, которые он строил, а он и в самом деле, казалось, слышал первый крик новорожденного и его первое слово в недалеком будущем. Она и всегда любила облитый карамелью миндаль, но теперь она поглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо), и аскетический Пнин смотрел с восхищением и страхом на эту ее прожорливость, качая головой и пожимая плечами, и в его сознание запало что-то от гладкой шелковистости этих драже, навсегда соединившись с воспоминанием о ее натянутой коже, цвете ее лица, о ее безукоризненных зубах.

Немного разочаровало то, что, едва поднявшись на борт и бросив взгляд на вздымавшееся море, она сказала: «Ну, это извините», и тотчас удалилась в чрево корабля, где и провела большую часть пути, лежа на спине в каюте, которую делила с болтливыми женами трех неразговорчивых поляков – борца, садовника и парикмахера, – доставшихся Пнину в соседи. На третий вечер путешествия, задержавшись в кают-компании после того, как Лиза ушла спать, он охотно согласился сыграть партию в шахматы с бывшим издателем одной франкфуртской газеты, меланхолическим старцем с мешками под глазами, в свэтере со сборчатым воротом «хомут» и в гольфных штанах. И тот и другой играли дурно; оба имели склонность к эффектным, но совершенно необоснованным жертвам фигур; каждый непременно хотел выиграть; и дело еще оживлялось пнинским фантастическим немецким языком («Wenn Sie so, dann ich so, und Pferd fliegt»[16 - Если вы так, то я так, и лошадь летает.]). Тут подошел другой пассажир, сказал «entschuldigen Sie»[17 - Виноват!] – нельзя ли ему посмотреть на их игру? и сел возле. У него были рыжеватые, коротко подстриженные волосы и длинные блеклые ресницы, напоминающие хвостовые нити лепизмы; на нем был поношенный двубортный пиджак, и вскоре он уже тихонько цокал языком и качал головой всякий раз, когда старец после долгого и важного раздумья подавался вперед, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов этот полезный зритель, явный знаток, не утерпел и, толкнув назад пешку, которой только что пошел его соотечественник, указал дрожащим перстом на ладью, которую старый франкфуртец моментально внедрил под мышку защиты Пнина. Наш приятель, разумеется, проиграл и уже уходил, когда знаток нагнал его и сказал «entschuldigen Sie», нельзя ли ему минутку поговорить с герр Пнин? («Как видите, мне известно ваше имя», – заметил он мимоходом, подняв свой вездесущий указательный палец) – и предложил зайти в бар выпить пива. Пнин согласился, и когда перед ними поставили кружки, вежливый незнакомец сказал вот что: «В жизни, как и в шахматах, всегда следует анализировать свои побуждения и намерения. В день, когда мы поднялись на борт, я был словно резвое дитя. Однако уже на следующее утро я

начал опасаться, что пронизательный супруг – это не комплимент, а ретроспективное предположение – рано или поздно просмотрит список пассажиров. Сегодня совесть судила меня и признала виновным. Я более не могу терпеть обмана. Ваше здоровье. Это, конечно, не то, что наш немецкий нектар, но все же лучше, чем кока-кола. Мое имя Эрих Винд; оно вам, увы, неизвестно».

Пнин, молча, с искаженным лицом, все еще держа ладонь на мокрой стойке, начал неуклюже сползать с неудобного грибовидного сиденья, но Винд положил пять длинных чутких пальцев на его рукав.

– Lasse mich, lasse mich![18 - Оставьте меня!] – взвыл Пнин, пытаясь стряхнуть безкостную, заискивающую руку.

– Пожалуйста! – сказал д-р Винд. – Но будьте же справедливы. Последнее слово всегда за осужденным – это его право. Это признают даже нацисты. И прежде всего – я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить по крайней мере половину ее билета.

– Ach nein, nein, nein[19 - Ах нет, нет, нет.], – сказал Пнин. – Прекратим этот кошмарный разговор (diese koschmarische Sprache).

– Как вам угодно, – сказал д-р Винд и принялся внушать связанному Пнину следующие пункты. Что это была всецело Лизина идея – «упрощая, знаете ли, дело – ради нашего ребенка» («нашего» звучало тройственно); что Лиза очень больная женщина и нуждается в особом уходе (беременность – просто сублимация позыва к смерти); что он (д-р Винд) женится на ней в Америке – «куда я также направляюсь», добавил д-р Винд для ясности; и что он (д-р Винд) просил бы позволить ему заплатить по крайней мере за пиво. После чего до конца путешествия, которое из серебристо-зеленого превратилось в однообразно-серое, Пнин откровенно ушел в свои английские учебники и, хотя был с Лизой неизменно кроток, старался видаться с ней настолько редко, насколько это было возможно, не возбуждая ее подозрений. Время от времени д-р Винд появлялся откуда ни возьмись и издали знаками бодренько приветствовал его. И когда, наконец, величавая статуя выросла из утренней дымки, где, готовясь вспыхнуть на солнце, стояли бледные зачарованные здания, похожие на те таинственные, разновысокие прямоугольники, которые видишь на диаграммах сравнительно-наглядных процентных соотношений (природные богатства, частота миражей в различных пустынях), д-р Винд

решительным шагом подошел к Пниным и назвал себя – «поскольку мы все трое должны с чистым сердцем ступить на землю свободы». И после нелепо-комической задержки на Эллис-Айленд Тимофей и Лиза расстались.

Были кой-какие осложнения – но в конце концов Винд женился на ней. В продолжение первых пяти лет жизни в Америке Пнин несколько раз видал ее мельком в Нью-Йорке; он и Винды были натурализованы в один и тот же день; затем, после его отъезда в Вэйндель в 1945 году, лет шесть прошло без встреч и переписки. Однако время от времени до него доходили слухи о ней. Не так давно (в декабре 1951-го) его друг Шато прислал ему номер журнала по психиатрии со статьей, написанной д-ром Альбиной Дункельберг, д-ром Эрихом Виндом и д-ром Лизой Винд по поводу «Групповой психотерапии и ее применения при консультировании по проблемам брака». Лизины «психоослиные» интересы всегда вызывали у Пнина чувство неловкости, и даже теперь, когда ему должно было быть все равно, его передернуло от отвращения и жалости. Они с Эрихом работали под началом великого Бернарда Мэйвуда, jovialного гиганта, – которого прекрасно приспособившийся к новым условиям Эрих именовал «Боссом» – в исследовательском отделе при «Центре регулирования размеров семьи». С одобрения своего (и жены) покровителя Эрих разработал остроумную (может быть, не ему принадлежавшую) идею загонять наиболее податливых и глупых клиентов Центра в психотерапевтическую западню – кружок «устранения напряженности», что-то вроде группового шитья одеял из разноцветных лоскутов, где молодые замужние женщины, группами по восемь человек, раскрепощались в уютной комнате в обстановке непринужденной, живой, с обращением на ты беседы в присутствии докторов, сидевших за столом лицом к группе, и секретаря, незаметно ведшего записи травматических эпизодов детства, всплывавших там и сям подобно трупам. На этих собраниях дам заставляли с полнейшей откровенностью обсуждать между собой свои брачные неполадки, что, разумеется, приводило к сопоставлению наблюдений над супругами, которых потом тоже интервьюировали в особой «группе мужей», тоже весьма непринужденной, где они щедро угощали друг друга папиросами и анатомическими диаграммами. Пнин пропустил доклады и конкретные случаи, – и здесь ни к чему вдаваться в эти потешные подробности. Достаточно сказать, что уже на третьем собрании женской группы, после того как та или другая дама побывала дома, и возвращалась прозревшая, и потом расписывала новое ощущение своим все еще заблокированным, но восторженным подругам, звонкая нота сектантского радения приятно окрашивала дискуссию («Ну вот, девочки, когда Джордж прошлой ночью...»). И это еще не все. Д-р Эрих Винд надеялся разработать метод, который позволил бы свести всех этих мужей и жен в одну общую группу. Кстати сказать, мороз

подирал по коже, когда они с Лизой облизывались, произнося слово «группа». В длинном письме к приунывшему Пнину профессор Шато утверждал, что д-р Винд даже сиамских близнецов называет «группой». И правда: прогрессивный идеалист Винд мечтал о счастливом мире, состоящем из сиамских сот, анатомически соединенных коммун, целых наций, созданных вокруг коммунальной печени. «Вся эта психиатрия – просто микромирок коммунизма», – ворчал Пнин, отвечая Шато. «Для чего лишать человека права горевать наедине с самим собой? Горе ведь единственное его настоящее достояние на этом свете!»

6

– Послушай, – сказала Джоана мужу в субботу утром, – я решила сказать Тимофею, что сегодня от двух до пяти дом будет в их распоряжении. Мы должны создать для этих жалостных существ все условия. У меня есть дела в городе, а тебя я подброшу в библиотеку.

– Штука в том, – отвечал Лоренс, – что как раз сегодня у меня нет ни малейшего желания быть подброшенным и вообще перемещенным куда бы то ни было. А кроме того, в высшей степени невероятно, чтобы им для свидания понадобилось восемь комнат.

Пнин надел свой новый коричневый костюм (за который было заплачено кремонской лекцией) и, наспех позавтракав в заведении «Яйцо и Мы», пошел через парк с островками снега к вэйндельской автобусной станции, куда он пришел чуть ли не на час раньше, чем требовалось. Он не пытался разгадать, для чего, собственно, Лизе понадобилось непременно повидать его на возвратном пути из пансиона Св. Варфоломея, под Бостоном, куда этой осенью должен был поступить ее сын; он знал только, что вал ликования пенился в нем и рос за невидимой преградой, которая вот-вот должна была обрушиться под этим напором. Он встретил пять автобусов, и в каждом из них ясно видел Лизу, махавшую ему в окно в веренице выходящих пассажиров, но автобусы один за другим опорожнялись, а ее не оказывалось. Вдруг он услышал ее звучный голос («Тимофей, здравствуй!») позади себя и, круто обернувшись, увидел, что она вышла как раз из того единственного автобуса дальнего следования, в котором он уже решил, что ее нет. Какую перемену мог заметить в ней наш приятель?

Господи Боже мой, да какая там могла быть перемена! Она да она. Ей всегда было жарко, и все в ней кипело, даром что прохладно, вот и теперь ее котиковая шубка была настезь распахнута, открывая сборчатую блузку, когда она охватила голову Пнина, и он ощутил душистый цитрусовый запах ее шеи и все бормотал «ну-ну, вот и хорошо, ну вот» – жалкие словесные подпорки сердца, – а она воскликнула: «Ах, да у него чудные новые зубы!» Он помог ей сесть в таксомотор, ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то, Пнин поскользнулся на мостовой, и шофер сказал «легче» и взял у него ее саквояж, и все это было уже когда-то, в этой именно последовательности.

Эта школа, говорила она ему, пока они проезжали по Парковой, в английской традиции. Нет, она ничего не будет есть, она съела большой завтрак в Албани. Эта школа «очень фэнси»[20 - Экстравагантная и фешенебельная.], – сказала она по-английски, – мальчики играют в зале в игру вроде тенниса, руками, от стен, и в одном классе с ним будет – она с деланой небрежностью произнесла известную американскую фамилию, которая Пнину ничего не говорила, потому что она не принадлежала ни поэту, ни президенту. «Между прочим, – прервал ее Пнин, подавшись вперед и указывая, – отсюда виден краешек кампуса». Все это благодаря («вижу, вижу, ничего особенного, кампус как кампус»), все это, включая стипендию, благодаря участию д-ра Мэйвуда («знаешь, Тимофей, ты бы как-нибудь черкнул ему несколько строк, ну просто из вежливости»). Директор, он же приходской пастор, показал ей трофеи, которые Бернард завоевал еще мальчиком. Эрих, конечно, хотел, чтобы Виктор поступил в казенную школу, но с ним не посчитались. Жена о. Хоппера – племянница английского графа.

– Вот мы и приехали. Вот мои чертоги, – пошутил Пнин, который никогда не мог уследить за ее скорострельной речью.

Они вошли – и внезапно он почувствовал, что этот день, который он предвкушал с таким ярким нетерпением, проходит слишком уж скоро – уходит, и уходит и скоро вот совсем пройдет. Если б она сразу сказала, что ей от него нужно, думал он, быть может, день бы замедлил ход и стал бы в самом деле радостным.

– Какой жуткий дом, – сказала она, садясь на стул рядом с телефоном и снимая ботинки – такие знакомые движения. – Нет, ты только посмотри на эту акварель с минаретами. Должно быть, ужасные люди.

– Нет, – сказал Пнин, – они мои друзья.

– Мой милый Тимофей, – говорила она, пока он эскортировал ее наверх, – в свое время у тебя бывали довольно ужасные друзья.

– А вот моя комната, – сказал Пнин.

– Я, пожалуй, прилягу на твою девственную постель, Тимофей. Я сейчас прочитаю тебе стихи. Опять просачивается эта адская головная боль. Я так превосходно чувствовала себя весь день.

– У меня есть аспирин.

– Мэ-а, – сказала она, и на фоне ее родной речи это новоприобретенное отрицание звучало непривычно.

Когда она стала снимать туфли, он отвернулся, и звук, с которым они упали на пол, напомнил ему очень далекие дни.

Она откинулась – черная юбка, белая блузка, каштановые волосы, – одной розовой рукой прикрыв глаза.

– Как ты вообще? – спросил Пнин (уж поскорей бы она сказала, что ей нужно!), опускаясь в белую качалку возле радиатора.

– У нас очень интересная работа, – сказала она, все еще заслоняя глаза, – но я должна тебе сказать, Эриха я больше не люблю. Наши отношения развалились. Кстати, Эрих не любит собственного сына. Он говорит, что он его земной отец, а ты, Тимофей, водяной.

Пнин начал смеяться: он покатывался со смеху; под ним громко скрипела несколько инфантильная качалка. Его глаза были как звезды и совершенно мокрые. Она некоторое время с любопытством смотрела на него из-под пухлой руки, потом продолжала:

– У Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора. Воображаю, сколько раз мальчик должен был во сне убивать его. И потом, как я давно заметила, у Эриха вербализация только запутывает проблемы, вместо того чтобы их разрешать. Он очень тяжелый человек. Какое у тебя жалованье,

Тимофей?

Он сказал.

– Негусто, – сказала она. – Но, я думаю, ты даже можешь кое-что откладывать – этого больше чем достаточно для твоих потребностей, твоих микроскопических потребностей, Тимофей.

Ее живот, туго схваченный черной юбкой, два-три раза подпрыгнул с немой, уютной, добродушно-припоминающей иронией, – а Пнин высморкался, одновременно качая головой и сладострастно и весело наслаждаясь.

– Послушай мое последнее стихотворение, – сказала она, вытянув руки по швам и лежа совершенно прямо на спине, и принялась мерно выпевать протяжным, грудным голосом:

Я надела темное платье,

И монашенки я скромней;

Из слоновой кости распяты

Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий

Прожигают мое забытье,

И шепчу я имя Георгий –

Золотое имя твое!

– Это очень интересный человек, – продолжала она без всякого перехода. – В сущности, почти англичанин. На войне он летал на бомбардировщике, а теперь он в фирме маклеров, которые его не любят и не понимают. Он происходит из старинной семьи. Отец его был мечтатель, имел плавучее казино, ну и все прочее, но его разорила во Флориде какая-то шайка евреев, и он добровольно пошел в тюрьму вместо другого; героизм у них в роду.

Она помолчала. Тишина в маленькой комнатке скорее подчеркивалась, чем нарушалась бульканьем и треньканьем в беленых органных трубах.

– Я сделала Эриху полный аналитический отчет, – со вздохом продолжала Лиза, – и теперь он все твердит, что вылечит меня, если я буду кооперировать. К сожалению, я уже кооперирую с Георгием. Ну что ж, *cest la vie*, как остроумно выражается Эрих. Как ты можешь спать под этой паутинной ниткой с потолка? – Она посмотрела на свои наручные часики. – Боже, ведь мне нужно успеть на автобус в половине пятого. Тебе придется через минуту вызвать таксомотор. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь.

Вот оно, наконец, – но поздно.

Она хотела, чтобы Тимофей каждый месяц откладывал немного денег для мальчика – потому что она ведь не может теперь просить Бернарда Мэйвуда – и она может умереть, – а Эриху все безразлично, что бы ни случилось, – и кто-то же должен время от времени посылать мальчику небольшую сумму, как бы от матери – ну, знаешь, на карманные расходы – вокруг него ведь будут все богатые мальчики. Она пришлет Тимофею адрес и еще кой-какие подробности. Да, она никогда не сомневалась, что Тимофей прелесть («Ну, какой же ты душка»). А где здесь уборная? И, пожалуйста, позвони насчет таксомотора.

– Кстати, – сказала она, когда он подавал ей шубу и, по обыкновению хмурясь, разыскивал дезертировавшие проймы рукавов, покуда она тыкалась руками и шарила, – знаешь, Тимофей, этот твой коричневый костюм никуда не годится: джентльмен не носит коричневого.

Он проводил ее и пошел обратно через парк. Не отпускать бы ее, удержать бы – какую ни на есть – жестокую, вульгарную, с ослепительными синими глазами, с ее жалкими стихами, толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, изменчивой, инфантильной душой. Ему вдруг пришло в голову: что, если люди соединяются на том свете (я в это не верю, но предположим)? как тогда сумею я помешать этой сморщенной, беспомощной, убогой ее душе карабкаться на меня, проползать по мне? Но мы покамест еще на этом свете, и я, как это ни странно, живу, и что-то есть такое во мне и в жизни, что – Казалось, что совершенно неожиданно (ибо отчаянье редко приводит к великим открытиям) он стоит на пороге простого разрешения вселенской загадки, но его перебили настойчивой просьбой. Сидевшая под деревом белка заметила Пнина на тропке. Одним извивистым, цепким движением умный зверек вскарабкался на край фонтанчика

питьевой воды, и когда Пнин подошел, принялся, раздувая щеки, тыкать своей овальной мордочкой в его сторону с довольно грубым цыканьем. Пнин понял и, немного пошарив, нашел то, что требовалось надавить. Презрительно поглядывая на него, томимая жаждой грызунья тотчас начала пить из плотного, искрящегося столбика воды и пила довольно долго. У нее, должно быть, жар, подумал Пнин, тихо и вольно плача, продолжая вежливо нажимать на рычажок и в то же время стараясь не встречаться глазами с уставившимся на него неприятным взглядом. Утолив жажду и не выказав ни малейшей признательности, белка улизнула.

Водяной отец пошел своей дорогой, дошел до конца тропинки, потом повернул в боковую улицу, где был маленький бар в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в створчатых окнах.

7

Когда в четверть шестого Джоана с полной сумкой провизии, двумя иллюстрированными журналами и тремя пакетами вернулась домой, она нашла в почтовом ящике на веранде авиаписьмо-экспресс от дочери. Прошло больше трех недель с тех пор, как Изабелла кратко известила родителей, что после медового месяца в Аризоне они благополучно добрались до мужниного города. Манипулируя свертками, Джоана разорвала конверт. Это было восторженно-счастливое письмо, и она одним духом пробежала его, – от облегчения у нее перед глазами все как-то поплыло в радужном сиянии. Снаружи входной двери она нащупала, а потом с секундным недоумением увидела ключи Пнина, свисавшие из замочной скважины вместе с кожаным футлярчиком наподобие грозди его нежнейших внутренностей; она воспользовалась ими, чтобы отпереть дверь, и как только вошла, услышала доносившийся из чулана громкий анархический перестук: там кто-то отворял и захлопывал шкапы один за другим.

Она положила сумку и пакеты на кухонный буфет и спросила в направлении чулана:

– Что вы там ищете, Тимофей?

Он вышел оттуда с багровым лицом и диким взглядом, и она была потрясена, увидев, что его лицо все в неоттертых слезах.

- Я, Джон, искал висок и умирающую воду, - сказал он трагически.

- Минеральной воды, кажется, нет, - ответила она со своей здоровой англосаксонской невозмутимостью. - Зато виски в столовой, в шкафчике, сколько угодно. Но, по-моему, нам теперь лучше выпить горячего чайку.

Он сделал русский жест со значением «оставим это».

- Нет, мне, в сущности, ничего не нужно, - сказал он и сел за кухонный стол с ужасным вздохом. Она присела рядом и раскрыла один из купленных журналов.

- А почему бы нам не посмотреть смешные картинки, Тимофей.

- Не нужно, Джон. Вы ведь знаете - я не отличаю, где тут реклама, а где не реклама.

- Вы просто отдыхайте, Тимофей, а я буду объяснять. Вот, посмотрите, - это мило, по-моему. Очень даже остроумно. Тут у нас имеются две идеи - «необитаемый остров» и «воображаемая девушка». Тимофей, ну посмотрите, пожалуйста, - он нехотя надел очки для чтения, - это вот необитаемый остров с одной-единственной пальмой, а это остатки разбитого плота, тут - моряк, потерпевший крушение, а это вот - кошка с корабля, которую он спас, ну а здесь, на камне...

- Невозможно, - сказал Пнин. - Такой маленький остров, а еще с пальмой, не может существовать в таком большом море.

- Пускай, но вот здесь он существует.

- Невозможная изоляция, - сказал Пнин.

- Да, но-Право, Тимофей, это нечестно.

Вы ведь отлично знаете, что согласны с Лором в том, что мышление основано на компромиссе с логикой.

- С оговорками, - сказал Пнин. - Прежде всего, логика как таковая.

- Ну, хорошо, хорошо, этак мы совсем удалимся от нашей скромной забавы. Взгляните же на картинку. Вот, значит, моряк, а вот кошечка, и тут же довольно кислая русалка, а теперь посмотрите на эти облака над матросом и над кошкой.

- Взрыв атомной бомбы? - грустно сказал Пнин.

- Да нет же, совсем не то, нечто повеселее. Видите ли, эти круглые облачки как бы проекции их мыслей. И вот мы наконец добрались до смешной пуанты. Матрос-то мечтает о русалке с ногами, а кошка воображает ее целиком рыбой.

- Лермонтов, - сказал Пнин, подымая два пальца, - всего в двух стихотворениях выразил о русалках все, что можно выразить. Я не в силах понимать американский юмор даже когда счастлив, и должен сказать - Он снял очки дрожащими руками, локтем отпихнул журнал в сторону и, уронив голову на руку, разразился задушенными рыданиями.

Она услышала, как входная дверь отпахнулась и затворилась, и мгновение спустя Лоренс, крадучись с шутливой таинственностью, заглянул на кухню. Правой рукой Джоана помахала ему, чтобы не входил, левой указывая на конверт с радужной каемкой, лежавший поверх пакетов. Особенная домашняя улыбка, которой она блеснула, была как бы кратким конспектом письма Изабеллы; он схватил его и снова на цыпочках, но уже не дурачась, вышел.

Могучие без нужды плечи Пнина все еще сотрясались. Она закрыла журнал и с минуту рассматривала обложку: игрушечно-яркие крошки-школьники; Изабелла и дочь Гагенов; тенистые деревья, пока еще праздные; белый шпиль; вэйндельские колокола.

- Она не хочет возвращаться? - тихо спросила Джоана. Пнин - голова на сгибе локтя - начал стучать по столу неплотно сжатым кулаком.

– У меня ничего нет, – стонал Пнин в промежутках между громкими влажными всхлипываниями, – ничего не осталось, ничего!

Глава третья

1

За восемь лет преподавания в Вэйндельском университете Пнин по разным причинам, главным же образом из-за шума, менял место жительства чуть ли не каждый семестр. Выстроенная в его памяти вся эта череда комнат казалась теперь выставкой расставленных напоказ кресел, кроватей, ламп, каминов, которые, игнорируя все различия пространства и времени, сошлись теперь вместе в мягком освещении мебельного магазина, а снаружи идет снег, сумерки сгущаются, и, в сущности, никто никого не любит. Комнаты вэйндельского периода выглядели особенно мило в сравнении с той, что была у него в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в том незабываемом квартале, где вдоль обочины троттуара валялся бумажный сор, блестела собачья куча, на которой кто-то уже поскользнулся, и где какой-то мальчишка без устали колошматил мячом о ступени высокого бурого крыльца; но даже эта комната казалась Пнину (в голове которого все еще отдавался стук мяча) прямо щегольской, когда он сравнивал ее со старым, теперь уже полузанесенным пылью пристанищем его долгой средневропейской, нансенскопаспортной эпохи.

С годами, однако, Пнин сделался привередлив. Он уже не довольствовался красивой обстановкой. Вэйндель был тихий городишко, а Вэйндельвиль, лежавший среди холмов, и подавно; но не было такого места, которое показалось бы Пнину достаточно покойным. В самом начале его здешней жизни у него была квартира об одной комнате в заботливо обставленном университетском Доме для несемейных преподавателей, очень милым заведении, несмотря на некоторые неудобства общинного быта («Пнин, сыграемте в пинг-понг?» – «Я уже не играю в детские игры»); но потом появились какие-то мастеровые и принялись сначала буравить дыры в мостовой (что на улице Черепной Коробки в Пнинграде), а потом заделывать их, а потом

опять сверлить, и это продолжалось – приступами черных зигзагов, сменявшихся оглушенными паузами, – по целым неделям, и казалось, что им уже никогда не отыскать того безценного инструмента, который они по ошибке там закопали. Была еще комната (если выбирать там и сям только главных обидчиков) в абсолютно непроницаемом на первый взгляд «Герцогском павильоне» в Вэйндельвиле: превосходный кабинет, над которым, однако, каждый вечер начинался (перемежаясь грохотом каскадов в уборной и буханьем дверей) угрюмый топот двух чудовищных статуй на первобытных каменных ногах – образ, с трудом вязавшийся с субтильным на самом деле сложением его соседей сверху, каковыми оказались Старры, с кафедры изящных искусств («Меня зовут Христофор, а это Луиза»), ангельски кроткая чета, живо интересовавшаяся Достоевским и Шостаковичем. Была и еще более уютная спальня-кабинет (в других меблированных комнатах), где никто не вламывается к тебе ради дарового урока русского языка; но как только грозная вэйндельская зима стала пронизывать этот уют своими острыми сквознячками (а дуло не только от окна, но даже из шкапа и из штепселей), комната обнаружила род какого-то помешательства или таинственной мании – именно, началось неискоренимое бормотание более или менее классической музыки, странным образом исходившей из покрашенного серебряной краской радиатора Пнина. Он пробовал приглушить ее одеялом, как певчую птицу в клетке, но пение упрямо продолжалось до тех пор, пока престарелую мать госпожи Тэер не перевезли в больницу, где она и скончалась, после чего радиатор внезапно заговорил на канадском диалекте французского языка.

Испробовал он и обиталища другого типа: снимал комнаты в частных домах, которые, хотя и во многом отличались друг от друга (не все, например, были дощаты: попадались и оштукатуренные или хотя бы отчасти оштукатуренные), имели одну общую черту: на этажерках в гостиной или на лестничных площадках неизменно присутствовали Хендрик Виллем ван Лун и д-р Кронин; их могла разлучать стайка иллюстрированных журналов, или какой-нибудь глянцеви́тый и добротный исторический роман, или даже представляющая кого-нибудь в лицах г-жа Гарнетт[21 - Констанция Гарнетт перевела на английский язык едва ли не весь корпус серьезной русской беллетристики; Набоков считал, что ее переводы дурны.] (и в таких домах уж непременно висит где-нибудь плакат Тулуз-Лотрека), но эта пара присутствовала непременно, обмениваясь взглядами дружеского узнавания, как двое старых приятелей в людной компании.

На какое-то время он вернулся в Университетский Дом, но тогда и бурильщики мостовой тоже туда вернулись, да к тому же там объявились и другие раздражающие недостатки. Теперь Пнин снимал спальню (розовые стены, белые воланы) во втором этаже клементсовского дома, и это был первый дом, который ему действительно нравился, и первая комната, в которой он прожил больше года. К этому времени он вытравил все следы прежней ее обительницы, или так ему казалось, ибо он не замечал и никогда, должно быть, не заметил бы смешной рожицы, нацарапанной на стенке прямо за изголовьем кровати, и полустершихся карандашных отметок роста на дверном косяке, начиная с четырех футов в 1940 году.

Вот уже больше недели весь дом был в распоряжении Пнина: Джоана Клементс отправилась аэропланом на Запад навестить замужнюю дочь, а спустя несколько дней, в самом начале своего весеннего курса философии, улетел туда и профессор Клементс, которого вызвали телеграммой.

Наш приятель не спеша съел завтрак, состоявший большей частью из производных молока, которое продолжали поставлять, и, как обычно, в половине десятого собрался идти в университет.

Мне становится тепло на душе, когда вспоминаю его российско-интеллигентский способ надевать пальто: его склоненная голова обнаруживала тогда свою идеальную лысину, а большой, как у Герцогини из Страны Чудес, подбородок крепко прижимался к перекрестку концов зеленого кашне, удерживая его на груди, покамест он, сильно дергая широкими плечами, норовил попасть в оба рукава сразу; рывок-другой, и пальто на нем.

Он подхватил портфель, проверил его содержимое и вышел вон. Отойдя на расстояние, с которого мальчишки-разносчики швыряют с улицы на крыльцо газеты, он вдруг вспомнил, что университетская библиотека просила его срочно вернуть книгу, понадобившуюся другому читателю. С минуту он боролся с собой: эта книга была еще нужна ему; но сердобольный Пнин слишком сочувствовал страстному призыву другого (неведомого) ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым фолиантом. То был том 18-й – посвященный в основном Толстому – «Советского золотого фонда литературы, Москва – Ленинград, 1940 г.».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

За возможные частичные или даже дословные совпадения с другими напечатанными русскими версиями «Пнина» я никак не могу отвечать, потому что никогда не читал ни одного чужого перевода Набокова (кроме двух-трех страниц «Ады» в двух разных изложениях, по просьбе сына Набокова, для сравнительного анализа).

2

Приставного воротника.

3

Въезд коммунистов и „анархистов“ в Америку был воспрещен законом. Остров Эллис в нью-йоркской гавани предназначался для временного содержания эмигрантов, если немедленный их въезд был по какой-нибудь причине затруднен.

4

Рассеянный профессор.

5

«Прочее – молчанье» (финал «Гамлета»); «больше никогда» (рефрен из «Ворона» По); конец недели; «Кто – Что», американский биографический справочник.

6

Предельная полезность.

7

«Гамлет».

8

Американцы закладывают ногу на ногу поперек, голенью одной на колено другой, под прямым углом, иногда даже захватывая и подтягивая к себе лодыжку рукой.

9

Кампусом называется территория университета, весь вообще университетский городок.

10

История в занимательных рассказах.

11

Обставленным пространством.

12

Живые картины.

13

Пнин здесь смешивает английскую поговорку «выпустить кошку из мешка» (со значением невольного или вынужденного раскрытия тайны) с русской о шиле в мешке.

14

В Америке устраивают ежегодные соревнования за звание самой красивой девушки штата.

15

Донимать.

16

Если вы так, то я так, и лошадь летает.

17

Виноват!

18

Оставьте меня!

19

Ах нет, нет, нет.

20

Экстравагантная и фешенебельная.

21

Констанция Гарнетт перевела на английский язык едва ли не весь корпус серьезной русской беллетристики; Набоков считал, что ее переводы дурны.

Купить: <https://telnovel.com/vladimir-nabokov/pnin>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)